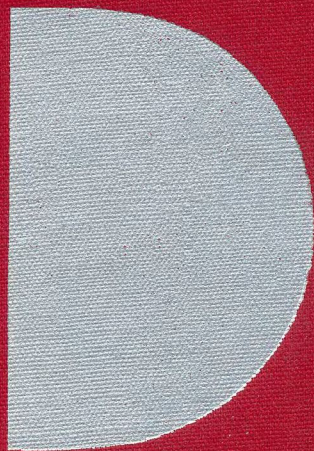
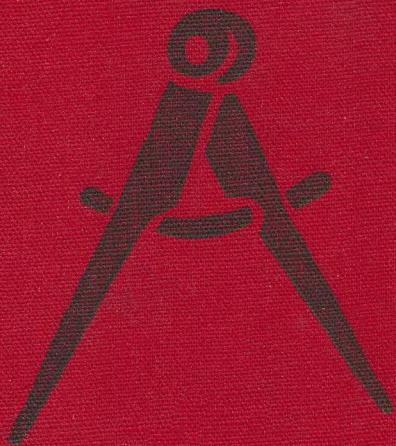


Byron: Professor



*Byron:
Professor*



Аурелий
Вознесенский

ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Москва
„Молодая гвардия“
1976

P2
B64

B $\frac{70402-291}{078(02)-76}$ 256—75

© Издательство «Молодая гвардия», 1976 г.

Памятник

**Я — памятник отцу, Андрею Николаевичу.
Юдоль его отмщу.**

Счета его оплачиваю.

Врагов его казню.

**Они с детьми своими
по тыще раз на дню**

его повторят имя.

От Волги по Юкон

**пусть будет знаменито,
как, цокнув языком,**

любил он землянику.

Он для меня как бог.

**По своему подобью
слепил меня, как мог,**

и дал свои надбровья.

Он жил мужским трудом,
в свет превращая воду,
считая, что притом

хлеб будет и свобода.

Я памятник отцу,

Андрею Николаевичу,

сам в форме отточу,

сам рядом врую лавочку.

Чтоб кто-то век спустя

с сиренью индевеющей

нашел плиту «б а»

на старом Новодевичьем.

Согбенная юдоль.

Угрюмое свечение.

Забвенною водой

набух костюм вечерний.

В душе открылась течь. И утешаться нечем.

Прости меня, отец,

что памятник не вечен.

Я — памятник отцу, Андрею Николаевичу.

Я лоб его ношу

и жребием своим

вмещаю ипостась,

что не досталась кладбищу, —

Отец — Дух — Сын.

GH

перван-

Ностальгия
по Настоящему

Хобби света

**Я сплю на чужих кроватях,
сизу на чужих стульях,
порой одет в привозное,
ставлю свои книги на чужие стеллажи —
но свет
должен быть
собственного производства.
Поэтому я делаю витражи.**

**Уважаю продукцию ГУМа и Пассажа,
но крылья за моей спиной
работают, как ветряки.**

Свет не может быть купленным
или продажным.
Поэтому я делаю витражи.

Я прутья свариваю электросваркой.
В наших магазинах не достать сырья.
Я нашел тебя на свалке.
Но я заставлю тебя сиять.

Да будет свет в Тебе
молитвенный и кафедральный,
да будут сумерки как тамариск,
да будет свет
в малиновых Твоих подфарниках,
когда Ты в сумерках притормозишь.

Но тут мое хобби подменяется любовью.
Жизнь расколота? Не скажи!
Окна в стиле средневековья.
Поэтому я делаю витражи.

Человек на 60% из химикалиев,
на 40% из лжи и ржи?
Но на 1% из Микеланджело!
Поэтому я делаю витражи.

Но тут мое хобби занимается теософией.
Пузырьки внутри сколов
стоят, как боржом.
Прибью витраж на калитку тесовую.
Пусть лес исповедуется
пред витражом.

Но это уже касается жизни, а не искусства.
Жжет мои легкие эпоксидная смола.

Мне предлагали (по случаю)
елисеевскую люстру.
Спасибо. Мала.

Ко мне прицениваются барышники,
клюют обманутые стрижи.
В меня прицеливаются булыжники.
Поэтому я делаю витражи.

Ностальгия по настоящему

Р. Гуттузо

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я — другие.
Упаду на поляну — чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколет,
но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто тебя отнимает.

Когда слышу тирады подленькие
оступившегося товарища,
я ищу не подобья — подлинника,
по нему грущу, настоящему.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по-настоящему.

Все из пластика — даже рубища,
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хочется в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем — рост понимания».

Хлещет черная вода из крана.
хлещет рыжая, настоявшаяся,
хлещет ржавая вода из крана,
я дождусь — пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю как тайну
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.

Табуны одичания

Столбенею на мазутном полустанке.
К Севастополю несутся табуны —
мустанги,
одичавшие после войны.

Одичалый жеребец, чей дед контужен,
ну а бабушка гнедая оккупантка,
племенных кобыл уводит из конюшен.
Ну, мустанги!

Ну, мустанги! Кто разграбил сахар в чайных,
ассигнации слизнул в районном банке?
Рыщет банда долгогривая мустангов,
Одичание.

Одичали над чаирами ничейными
и шиповниками стали розы чайные.
Одновременно с приручением
происходит рост одичания.

Поглядите в глаза дочерние,
что за джунглевые в них чайня? —
В век всеобщего обучения —
частный рост одичания.

А у чалого мустанги жизнь отчаянна,
как прокормишься под выюгами

крещенскими?

Приручение — одичание —
истребление — воскрешение.

Отслужили лошадям панихиду.
Неминуемый гол. Штанга!
Жизнь принюхивается ехидно
музыкальной ноздрей мустанга.

Милый, милый смешной дуралей,
паровоз допотопный кончится,
оказалась его удалей
первозданная мустанговая конница!

Их отстреливают охотники
ради конской колбасы воровато.
Не хватает сейчас Дон-Кихотов,
замещают их Россинанты.

Пейте крымское шампанское —
игристое, мускатное!
Не бейте крымских мустангов.
Скачите, мустанги!

Озеро

**Кто ты — непознанный Бог
или природа по Дарвину —
но я по сравнению с Тобой,
как я бездарен!**

**Озера тайный овал
высветлит в утренней просеке
то, что мой предок назвал
кодом нечаянным: «Господи...»**

**Господи, это же ты!
Вижу как будто впервые
озеро красоты
русской периферии.**

Господи, это же ты
вместо исповедални
горбишься у воды
старой скамейкой цимбальной.

Будто впервые к воде
выйду, кустарник отрину,
вместо молитвы Тебе
я расскажу про актрису.

Дом, где родилась она, —
между собором и баром...
Как ты одарена,
как твой сценарий бездарен!

Долго не знал о тебе.
Вдруг в захолустнейшем поезде
ты обернешься в купе:
Господи...

Господи, это же ты...
Помнишь, перевернулись
возле Алма-Аты?
Только сейчас обернулись.

Это впервые со мной,
это впервые,
будто от жизни самой
был на периферии.

Годы. Темноты. Мосты.
И осознать в перерыве:
Господи — это же ты!
Это — впервые.

Беловежская баллада

**Я беру тебя на поруки
перед силами жизни и зла,
перед алчущим оком разлуки,
что уставилась из угла.**

**Я беру тебя на поруки
из неволи московской тщеты.
Ты — как роща после порубки,
ты мне крикнула: защити!**

**Отвернутся друзья и подруги.
Чтобы вспыхнуло все голубым,
беловежскою рюмкой сивухи
головешки в печи угостим.**

Затопите печаль в моем доме!
Поет прошлое в кирпичах.
Все гори синим пламенем кроме —
запалите печаль!

В этих пылких поспешных поленьях,
в слове, вырвавшемся, хрипя,
ощущение преступления,
как сказали бы раньше — греха.

Воли мне не хватало, воли.
Грех, что мы крепостны на треть.
Столько прошлых дров накололи —
хорошо им в печали гореть!

Это пахнет уже не романом,
так бывает пожар и дождь —
на ночь смывши глаза и румяна,
побледневшая, подойдешь.

А в квартире, забытой тобою,
к прежней жизни твоей подключен,
белым черепом со змеею
будет тщетно шуршать телефон...

В этой егерской баньке бревенчатой,
точно сельские алтари,
мы такую свободой повенчаны —
у тебя есть цыгане в крови.

Я беру тебя на поруки
перед городом и людьми.
Перед ангелом воли и муки
ты меня на поруки возьми.

Звезда

**Аплодировал Париж
в фестивальном дыме.
Тебе дали первый приз —
«Голую богиню».**

**Подвезут домой друзья
от аэродрома.
Дома нету ни копыа.
Да и нету дома.**

**Оглядишь свои углы
звездными своими,
стены пусты и голы —
голая богиня.**

Предлагал озолотить
проездной бакинец.
Ты ж предпочитаешь жить
голой, но богиней.

Подвернется, может, роль
с текстами благими.
Мне плевать, что гол король!
Голая богиня...

А за окнами стоят
талые осины
обнаженно, как талант, —
голая Россия!

И такая же одна
грохает тарелки
возле вечного огня
газовой горелки.

И мерцает из угла
в сигаретном дыме —
ах, актерская судьба! —
Голая богиня.

Обмен

Не до муз этим летом кромешным.
В доме — смерти, одна за другой.
Занимаюсь квартирообменом,
чтобы съехались мама с сестрой.

Как последняя песня поэта,
едут женщины на грузовой,
две жилицы в посмертное лето —
мать с сестрой.

Мать снимает пушинки от шали,
и пушинки
летят
с пальтеца,

чтоб дорогу по ним отыскиали
тени бабушки и отца.

И как эхо их нового адреса,
проводя заплаканный скарб,
вместо выехавшего августа
в наши судьбы въезжает сентябрь.

Не обменивайте квартиры!
Пощади, распорядок земной,
мою малую родину сирую —
мать с сестрой.

Обменяться бы — да поздновато! —
на удел,
как они, без вины виноватых
и без счастья счастливых людей.

Молитва Микеланджело

**Боже, ведь я же Твой стебель,
что ж меня отдал толпе?
Боже, что я Тебе сделал?
Что я не сделал Тебе?**

Война

С иными мирами связывая,
глядят глазами отцов
дети —
широкоглазые
перископы мертвецов.

Похороны цветов

**Хороните цветы — убиенные гладиолусы,
молодые тюльпаны, зарезанные до звезды...
С верхом гроб нагрузивши, на черном автобусе
провезите цветы.**

**Отпевайте цветы у Феодора Стратилата.
Пусть в ногах непокрытые Чистые лягут пруды.
«Кого хоронят?» — спросят выходящие из театра.
Отвечайте: «Цветы».**

**Она так их любила, эти желтые одуванчики.
И не выдержит мама, когда застучит молоток.
Крышкой прихлопнули, когда стали заколачивать,
как книжную закладку, белый цветок.**

**Прожила она тихо, и так ее тихо не стало...
На случайную почву случайное семя падет.
И случайный поэт в честь Марии Новопреставленной
свою дочь назовет...**

Смерть Шукшина

Хоронила Москва Шукшина,
хоронила художника, то есть
хоронила страна мужика
и активную совесть.

Он лежал под цветами на треть,
недоступный отныне.
Он свою удивленную смерть
предсказал всенародно в картине.

В каждом городе он лежал
на отвесных российских простынках.
Называлось не кинозал —
просто каждый пришел и простился.

Он сегодняшним дням — как двойник.
Когда зябко курил он чинарик,
так же зябла, подняв воротник,
вся страна в поездах и на нарах.

Он хозяйственно понимал
край как дом — где березы и хвойники.
Занавесить бы черным Байкал,
словно зеркало в доме покойника.

Иумир

Большой хоккеист работает могильщиком.
Ах, водка-матушка,
ищи меня на дне...
Когда он в телевизорах
магичествовал,
убийства прекращались по стране.

Он был капризный принц
Олимпа и Сабены,
а после тридцати
он так застрессовал
наедине с забвеньем —
не дай вам бог перенести!

Он понял что-то
выше травм и грамот.
Над ямой он обтер
бутылку и батон.
Познал бы истину,
когда б работал Гамлет
сначала Йориком, могильщиком — потом,

«Ляжем — сравниемся», —
он говорил девочкам.

«Ляжем — сравниемся», —
он оборвет меня.

Не в голубой конек —
в глубинную лопату
врезается ступня.

Ляжем — сравниемся —
кумиры и селяне,
ляжем — сравниемся —
народы и леса,
в великой темноте в неназванном сияньи
ляжем — сравниемся.

Там побежденному стал победитель равен,
там, бывшие людьми,
безмолвные глядят —
взгляд клена, взгляд звезды и придорожный
камень.

Потом и камня нет.
Остался только взгляд.

Он погружается, дымя сигаркой, в вечность.
Кто не шибал верхов, тот не познал глубин.
Он погружается
по пояс, грудь, по плечи.
Прямоугольный мрак.
Живой дымок над ним.

Мужиковская весна

В. Солоухину

Не бабье лето — мужиковская весна.
Есть зимний дуб. Он зацветает позже.
Все отцвели. И не его вина,
что льнут к педалям красные сапожки
и воет скорость, перевыключена.

В лесу проходят правила вожденья.
Ему, как дочь, хипповочка она.
Цветут дубы. Ну, прямо наважденье!
Такая незаконная весна
шатает семьи, как землетрясенье.

Учись, его свобода и питомца!
Он твой кумир, опора и кремень...
Ты на его предельные спидометры
накрутишь свои первые км.
Цветы у дуба розоваты — крем,
от их цветенья воздух проспиртованный.

Что будет с вами? Это возраст леса,
как говорит поэт — ребра и беса,
а повесть Евы не завершена...
На память в узелок сплети мизинец.
Прощай и благодарствуй, дуб-зимнец!
Сигналит мужиковская весна.

Гекзаметры другу

Соколелетний Василий!

Сирин джинсовый,

художник в полете и в силе,

ржавой подковой

твой рот подковали усищи, Василий,

юность сбисируй, Василий,

где начищали штиблеты нам властелины Ассирий.

Бросил ты пить. Ты не выпил шампанского ванну,
300 ящ. пива и море разочарований

(в детстве — как фрески — застиранные сатины),

мы — европейцы, Василий, с поправкой на Византию,

бак политуры не допит плюс стопка мальвазии,
мы — византийцы с поправкой на Азию,
мы — азиаты с поправкой на техреволюцию,
гаснут в витринах недопитые иллюзии.

Стали активами наши пассивы, Василий.

Имя, как птица, с ветки садится на ветку
и с человека на человека.

Великолепно звучит, не плаксиво,
велосипедное имя Василий.

Первая встреча: облчудище дуло —
нас не скосило.

Оба стояли пред оцепеневшей стихией.

Встреча вторая: над черной отцовской
могилой

я ощутил твою руку, Василий.

Бог упаси нам встретиться в третий, Василий...

Мы ли виновные в сроках, в коих дружили,
что городские — венозные — реки нас
отразили?

О венценосное имя — Василий.

Тело мое, пробегая по ЦДЛу,
так просвистит твоему мимолетному телу:
«Ваш палец, Вас. Палыч! Сидите красиво».

О соловьиное имя — Василий.

Черное ёрничество

Когда спекулянты рыночные
прицениваются к Чюрлёнису,
поэты уходят в рыцари
черного ёрничества.

Их самоубийственный вывод:
стать ядом во имя истины.
Пусть мир в отвращении вырвет,
а следовательно — очистится,

Но самое черное ёрничество,
заботясь о человеке,
химической червоточиной
покрыло души и реки.

Но самые черные ерники
в белых воротничках,
не веря ни в бога, ни в черта,
кричат о святых вещах.

Верю в черную истину,
верю в белую истину,
верю в истину синюю —
не верю в истину циника...

Мой бедный, бедный ерник!
Какие ж твои молитвы?
У лица дождевые дворники
машут опасной бритвой.

Тоска твою душу ест,
вот ты и хохмишь у фрески,
где тащит страдалец крест:
«Христос на воскреснике».

Но мужество не в коверничестве,
а в том, чтоб сказать без робости:
Да сгинет общее ерничество
во имя Светлого Образа!

Поэты — рыцари чина
Светлого Образа.
Да сгинет первопричина
черного ерничества!

Новогодние ралли-стоп

Пл. Маяковского. 3 ч. дня.
Ты в четырех машинах впереди меня.
Волга. Москвич. Рафик.
Красный зад с табличкою «проба».
Трафик.
Пробка.

Постовой с микрофоном —
как эстрадный трагик.

Шепот. Робкое дыхание. Трели соловья.
Сопот. Ропот. Долуханова.
Ты в трех машинах впереди меня.
Трафик.

До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до-ре —
100 ре-ТВ-домино-сын в МИСИ-неси 100 ре.

Три часа до Нового года.

Пл. Пушкина. Нет обгона.

Пушкин. Фет. Барков. Переделков. Упаковкин.

Нет парковки.

Пробка.

Исторический график:

Людовики — 7-й, 8-й, 8^{1/2}, 18-й, до черта графов.

Твои любовники — Владлен 3-й, Владлен 4-й,

Владлен 5-й,

Рафик.

Мне плохо.

График.

Пробка.

Мысли:

не завелись бы в кардане мышцы.

2 часа до Нового года.

Пл. Маяковского. Капоты, капоты —

теснее, чем клавиши

или места на Ваганьковском кладбище.

Авто — моя крепость, авторакушка.

Ловушка!

Кого боится Вирджиния Вульф?

Всех, кто сядет впервые за руль.

Старушка пешком обгоняет вас

со скоростью 100 км в час.

По тротуарам несутся ночные ковбои

с единственной мыслью: кого бы?

Шкоды! Пошехония!

Пора ограничить скорость пешеходов.

Или ввести единую.

^{1/2} часа до Нового года.

Ты в двух машинах впереди меня.

О, вечный зад с табличкою «проба»!
Пробка.

С РАБОТЫ И НА РАБОТУ
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА,
ИЗ ФРУНЗЕ В САРАНСК
НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФРАНС.

ТЕЛЕГРАММА:

МОСКВА.

МФ-07-02.

Р-Н ОТ КОЛЬЦА ДО ДИНАМО.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ.

АЭРОДРОМОВОЙ =

= МОЯ ПРЕДАННАЯ РОМАН МОЙ БЕЗ ТЕБЯ

ТОСКА ТЧК

Я НА ЮГО-ЗАПАДЕ ЗПТ ВСЕ В ЛОСК ВОСКЛ =

*Одинокий мужчина
меняет машину
в центре Пушкинской площади
на Жигули той же площади,
но в районе Крымского моста*

Твоя машина пуста.

Я тоскую по сильным глаголам —
жить — думать — дышать — мчать, —
как форвард тоскует по голу,
когда окончился матч.

Догнать — обернуться — увидеть —
вернуться — себя подарить —
нарушить — возненавидеть —
разбиться — и благодарить —

**ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В КАССАХ АЭРОФЛОТА
НЕ СИДИТЕ БЕЗ ПРИВЯЗНОГО РЕМНЯ —
— умчать тебя к Новому году —
Ты во всех машинах впереди меня.**

Нарушу.

**Эй, выйдемте все из панцирей и из капотов
и из зада с табличкою «проба».**

Наружу!

**Шампанского!!
С Новым годом!!!
Пробка!**

* * *

Дорогие литсобратья!
Как я счастлив от того,
что среди общей благодати
меня кроют одного.

Как овечка черной шерсти,
я не зря живу свой век —
оттеняю совершенство
безукоризненных коллег,

* * *

Когда по Пушкину кручинились миряне,
что в нем не чувствуют бывшего волшебства,
он думал: «Милые, кумир не умирает.
В *вас* юность умерла!»

* * *

Есть русская интеллигенция.
Вы думали — нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
постолько интеллигенция,
поскольку они честны.

«Нет пороков в своем отечестве».
Не уважаю лесть.
Есть пороки в моем отечестве,
зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербуржской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Он не замечает карманников.
Явился он в мир стереть
второй закон термодинамики
и с ним тепловую смерть.

Когда он читает лекции,
над кафедрой, бритый весь —
он истой интеллигенции
указующий в небо перст.

Воюет с извечной дурью,
для подвига рождена,
отечественная литература —
отечественная война.

Какое призванье лестное
служить ей, отдавши честь:
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»

Разговорчик

- А еще я скажу апропо...
- Про что скажете?
- А про то!
- Может, лучше про Артлото?
- А про то?
- Бросьте в ступе толочь решето,
лучше мчитесь неторной тропой
по заоблачным горным плато...
- А про то?
- • • • •
- Ты про что намекаешь, браток?
- А про то...

Шоссе

«80» — в нимбе знака,
как некий новый святой,
Раздавленная собака
валяется на осевой.

Не я же ее зарезал,
зачем же она за мной
как по дрезинной рельсе
несется по осевой?

Рана черна от гнуса.
Скорость в пределах ста.
Главное — не оглянуться.
Совесть моя чиста.

Российские селф-мейд-мены*

Пробегаю по камням,
и летает по пятам
поэт в первом поколеньи —
мой любимый адъютант.

Честность в первом поколеньи,
за душою ни рубля.
Самородки, селф-мейд-мены
сами делают себя.

* Селф-мейд-мен (амер.) — человек,
сам себя сотворивший.

Их шлифуют педсистемы,
благолепие любя.
Поколенья селф-мейд-менов
сами делают себя.

Есть у Музы подвиг страдный,
и посты монастыря,
и преступная эстрада —
как гуляющая сестра!

Совесть в первом поколеньи
и опасная судьба —
разоря озареньем,
рождать заново себя.

Как обкуренную трубку,
не ревнуя, не скорбя,
джинсы, сшитые из Врубеля,
подарю после себя.

Волю в первом поколеньи,
на швах вытертый талант,
но не стертый на коленях.
Будь мужчиной, адъютант!

Не ослушайся приказа:
тело может сбить с лыжни.
Уходя, как ключ, два раза
во мне ножик поверни.

Не забудь

(СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ)

Человек надел трусы,
майку синей полосы,
джинсы белые, как снег,
надевает человек.

Человек надел пиджак,
на него нагрудный знак
под названием «ГТО».
Сверху он надел пальто.

На него, стряхнувши пыль,
он надел автомобиль.
Сверху он надел гараж
(тесноватый — но как раз!),

сверху он надел наш двор,
как ремень надел забор,
сверху наш микрорайон,
область надевает он.
Опоясался как рыцарь
государственной границей.
И, качая головой,
надевает шар земной.
Черный космос натянул,
крепко звезды застегнул,
Млечный Путь — через плечо,
сверху — кое-что еще...

Человек глядит вокруг.
Вдруг —
у созвездия Весы
он вспомнил, что забыл часы.

(Где-то тикают они
позабытые, одни?..)

Человек снимает страны,
и моря, и океаны,
и машину, и пальто.
Он без Времени — ничто.

Он стоит в одних трусах,
держит часики в руках.
На балконе он стоит
и прохожим говорит:
«По утрам, надев трусы,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!»

* * *

Мы обручились временем с тобой,
не кольцами, а электрочасами.
Мне страшно, что минуты исчезают.
Они согреты милою рукой.

* * *

Что ты ищешь, поэт, в кочевье?
Как по свету ни колеси,
но итоги всегда плачевны,
даже если они хороши.

Все в ажуре — дела и личное.
И удача с тобой всегда.
Тебе в кухне готовит яичницу
золотая кинозвезда.

Но как выйдешь за коновязи,
все высвистывает опять,
что еще до тебя не назвали
и тебе уже не назвать.

Гость из тысячелетий

Недавно, во время посещения Австралии, мы с американским поэтом Аленом Гизбергом гостили у величайшего певца аборигенов Марики Уанджюка. Через год он нанес мне ответный визит. Этому и посвящены мои шуточные строки.

I

Колумб XX века, вождь аборигенов Австралии,
бронзовый, как исчезнувший майский жук,
Марика Уанджюк,
без компаса и астролябии —
открыл Арбат.
Путь был опасностями чреват.

Уанджюк не свалился:

с «Каравеллы»,

с Ту,

с Ила,

с «Боинга-707»,

Уанджюка вертолет крутил, как праща,

Уанджюка не выкрали террористы,

Уанджюк не отравился:

после винегрета по-австралийски,

«Взлетной» карамели,

туалетного мыла,

портвейна «777»,

суточного борща,

шуточного «ерша»

и деликатеса «холодец».

Уанджюк молодец!

II

Сквозь авст. таможенные рентгены
он вывез наблюдения, засунув в плавки:

«АРБАТСКИЕ АБОРИГЕНЫ»

(для справки)

«Московиты —

мозговиты.

Их ум

становится в очередь к храму

под названием ГУМ.

Врачей белохалатная каста

держит в невежестве этот талантливый

и трудолюбивый народ.

Они верят, что химические лекарства
способны вылечить, а не наоборот.
Они верят, что человек умирает
со смертью тела,
как если бы бабочка
умирала со смертью кокона
(см. гипотезу Бабушкина и Когана).

Тысячелетняя их культура созревает,
юна еще и слаба.
Они и не подозревают об Абебеа.

Они очень лживы
(но без наживы).
Если москвич говорит: «Спасибо. Мы сыты», —
значит умирает от аппетита.
Школьники учат про Али Баба,
но понятия не имеют об Абебеа.

У них культ барахла носильного.
Они не знают, что гораздо красивее,
когда ты только в воздух одет!
Они не знают,
что самка крокодила
хочет, чтоб возлюбленный ее насиловал.
Поэтому дети ее живут 400 лет.
Они освоили транзисторы и твисты,
но не доросли еще до пониманья
птичьего свиста.

А летом (в декабре) в этой самой Московии
выпадает белая магия — «снег».
Все по сравнению с ним — тускло,
все вызывает оскомину,
и кажется желтым дневной свет.

А ночью кусочки белого
стоят
в воздухе
спокойно,
а дома и деревья уносятся вверх!»

III

Уанджюку все очень понравилось.
Он хотел бы остаться навсегда.
Но у них нет Океана.
У них есть кино,
но нет Океана,
у них есть блондинка Оксана,
но нет Океана,
у них есть музыка композитора Экимяна,
но нет, нет Океана.

Еще загвоздка:
они боятся свежего воздуха,
закупоренные
в квартиры огнеупорные.
Они употребляют воздух, кипяченный

в вентиляции.

Даже Андрей,
который явно
вкусил нашей зеленой цивилизации,
и тот не вылезает из-за дверей
и не имеет собственного Океана.

Странно.

И делает вид, что не знает об Абебеа.
Беда!

IV

АРБАТСКИЕ АБОРИГЕНШИ

одеты
(летом):
в баранью бекешу
(чем мохнатее, тем модней),
под ней
куртка замшевая
и вздох «замужем я...»,
под ней
пять ремней
на пряжках,

под ними
кофта синяя
овечьей пряжи
и «молния» американская
(смыкается, но не размыкается).

под ней
рубашка пляжная,
с видом
на Сидней,

под ней
свитер
и 2 ночные рубахи,
охи, ахи,

под ними
бикини
на ватине
с завязками, как силок.

Под ними —
кошелек.

Культура тела весьма слаба.
Они не расчесывают боа
и понятия не имеют об Абебеа.

V

«Уанджюк, что такое Абебеа?»
«Это похоже на аабебе.
Оно над Римами и Аддис-Абебами
звонит бессмертное на трубе!

Это священной войны и блуда,
Бриджит Бардо посреди двух А.
Непостижимы Аллах и Будда,
но непостижимей Абебеа.
Все остальное белиберда —
абебеа, абебеа...»

«Уанджюк, что ж такое Абебеа?»
Уанджюк улыбнулся, губами синяя,
улыбка поэта была слаба:

«Рифмовка дантовского сонета —

а —

б —

б —

а —

а —

б —

б —

а —»...

Уанджюк опять ушел от ответа.

Эрмитажный Микеланджело

«Скрюченный мальчик» резца Микеланджело,
сжатый, как скрепка писчебумажная,
что впрессовал в тебя чувственный старец?
Тексты истлели. Скрепка осталась.

Скрепка разогнута в холоде склепа,
будто два мрака, сплетенные слепо,
дух запредельный и плотская малость
разъединились. А скрепка осталась.

Благодарю, необъятный Создатель,
что я мгновенный твой соглядатай —
Сидоров, Медичи или Борджиа —
скрепочка Божья!

Засуха

В саду омывая машину,
к обочине перейду
и вымою ноги осине,
как грешница ноги Христу.

И ливень, что шел стороною,
вернется на рожь и овес.
И свет мою душу омоет,
как грешникам ноги Христос.

Музе

(НАДПИСЬ НА ИЗБРАННОМ)

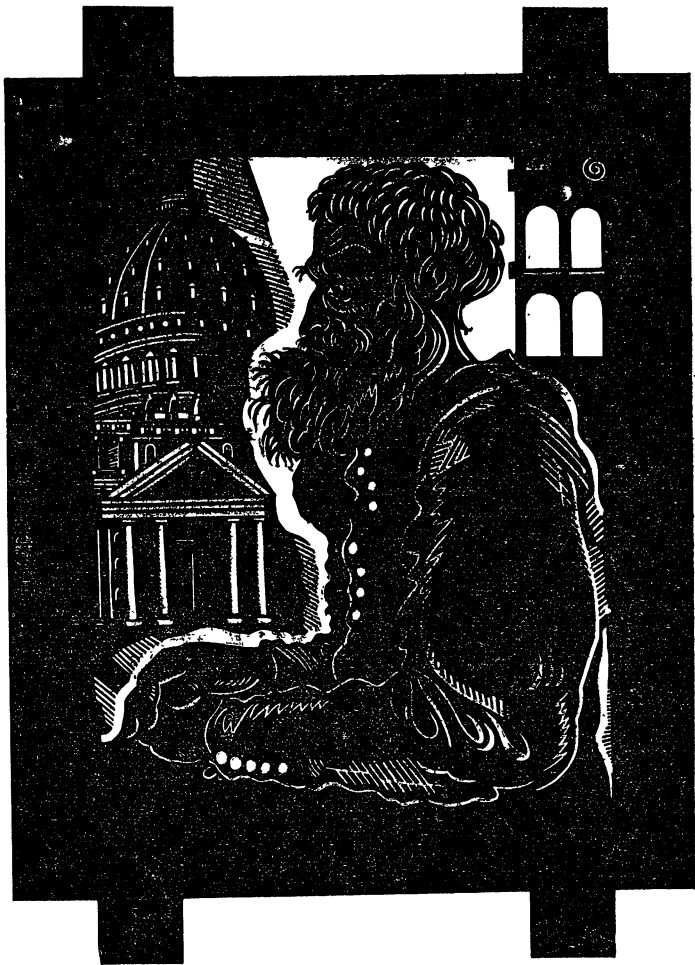
В садах поэзии бессмертных
через заборы я сигал,
я все срывал аплодисменты
и все бросал к Твоим ногам.

Но оказалось, что загадка
не в упоении ремесла.
Стихи ж — бумажные закладки
меж жизнью, что произошла.

Ск/1

Второй

Меморанд
Микеланджело



Мой Микеланджело

Кинжальная строка Микеланджело...

Мое отношение к творцу Сикстинской капеллы отнюдь не было платоническим.

В рисовальном зале Архитектурного института мне досталась голова Давида. Это самая трудная из моделей. Глаз и грифель следовали за ее непостижимыми линиями. Было невероятно трудно перевести на язык графики, перевести в плоскость двухмерного листа, приколотого к подрамнику, трехмерную — а вернее, четырехмерную форму образца!

Линии ускользали, как намыленные. Моя досада и ненависть к гипсу равнялись, наверное, лишь ненависти к нему Браманте или Леонардо.

Но чем непостижимей была тайна мастерства, тем сильнее ощущалось ее притяжение, магнетизм силового поля.

С тех пор началось. Я на недели уткнулся в архивные фолианты Вазари, я копировал рисунки, где взгляд и линия мастера, как штопор, ввинчиваются в глубь бурлящих торсов натурщиков. Во сне надо мною дымился вспоротый мощный кишечник Сикстинского потолка.

Сладостная агония над надгробием Медичи подымалась, прихлопнутая, как пружинной крысоловки, волютообразной пружиною фронтона.



Эту «Ночь» я взгромоздил на фронтон моего курсового проекта музыкального павильона. То была странная и наивная пора нашей архитектуры. Флорентийский Ренессанс был нашей Меккой. Классические колонны, кариатиды на зависть коллажам сюрреалистов слагались в причудливые комбинации наших проектов. Мой автозавод был вариацией на тему палаццо Питти. Компрессорный цех имел завершение капеллы Пацци.

Не обходилось без курьезов. Все знают дом Жолтовского с изящной лукавой башенкой напротив серого высотного Голиафа. Но не все замечают его карниз. Говорили, что старый маэстро на одном и том же эскизе набросал сразу два варианта карниза: один — каменный, другой — той же высоты, но с сильными деревянными консолями. Конечно, оба карниза были процитированы из ренессансных палаццо.

Верные ученики, восхищенно перенесли оба карниза на Смоленское здание. Так, согласно легенде, на Садовом кольце появился дом с двумя карнизами.

Вечера мы проводили в библиотеке, калькируя с флорентийских фолиантов. У моего товарища Н. было 2000 скалькированных деталей, и он не был в этом чемпионом.

Когда я попал во Флоренцию, я, как родных, узнавал перерисованные мною тысячи раз палаццо. Я мог с закрытыми глазами находить их на улицах и узнавать милые рустованные чудища моей юности. Следы наводнения только подчеркивали это ощущение.

Наташа Головина, лучший живописец нашего курса, как величайшую ценность подарила мне фоторепродукцию фрагмента «Ночи». Она до сих пор висит под стеклом в бывшем моем углу в родительской квартире.

И вот сейчас мое юношеское увлечение догнало меня, воротилось, превратясь в строки переводимых мною стихов.



Вероятно, инстинкт пластики связан со стихотворным.

Известно грациозное перо Пушкина, рисунки Маяковского, Волошина, Жана Кокто. Недавно нашумела выставка живописи Анри Мишо. И наоборот — один известнейший наш скульптор наговорил мне на магнитофон цикл своих стихов. Прекрасны стихи Пикассо и Микеланджело. Последний наизусть знал «Божественную комедию». Данте был его духовным крестным. У Мандельштама в «Разговоре о Данте» мы

читаем: «Я сравниваю, значит, я живу», — мог бы сказать Данте. Он был Декартом метафоры, ибо для нашего сознания — а где взять другое? — только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение».



Но метафора Данте говорила не только с богом. В век лукавый и опасный она таила в себе политический заряд, тайный смысл. Она драпировала строку, как удар кинжала из-под плаща. 6 января 1537 года был заколот флорентийский тиран Алессандро Медичи. Беглец из Флоренции, наш скульптор по заказу республиканцев вырубает бюст Брута — кинжального тираноубийцы. Скульптор в споре с Донато Джонатти говорит о Бруте и его местоположении в иерархии дантовского ада. Блеснул кинжал в знаменитом антипапском сонете.

Так, строка «Сухое дерево не плодоносит» нацелена в папу Юлия II, чьим фамильным гербом был мраморный дуб. Интонационным вздохом «господи» («синьор» по-итальянски) автор отводит прямые указания на адресат. Лукавая злободневность, достойная Данте. Данте провел двадцать лет в изгнании, в 1302 году заочно приговорен к сожжению. Были ли черные гвельфы, его мучители, исторически правы? Даже не в этом дело. Мы их помним лишь потому, что они имели отношение к Данте. Повредили ли Данте преследования? И это неизвестно. Может быть, тогда не было бы «Божественной комедии».

Обращение к Данте традиционно у итальянцев. Но Микеланджело в своих сонетах о Данте подставлял свою судьбу, свою тоску по родине, свое самоизгнание из родной Флоренции. Он ненавидел папу, негодовал и боялся его, прикованный к папским гробницам, — кандалный Микеланджело.



Менялась эпоха, республиканские идеалы Микеланджело были обречены ходом исторических событий. Но оказалось, что исторически обречены были события.

А Микеланджело остался.

В нем, корчась, рождалось барокко. В нем умирал Ренессанс. Мы чувствуем томительные извивы маньеризма — в предсмертной его «Пьете Рондонини», похожей на стебли болотных лилий, предсмертное цветение красоты.

А вот описание магического Исполина:

Ему не нужен поводырь.
Из пятки, желтой, как желток,
налившись гнездом, как волдырь,
горел единственный зрачок!

Далее следуют отпрыски этого Циклопа:

Их члены на манер плюща
нас обвивают, трепеща...

Вот вам ростки сюрреализма. Сальватор Дали мог позавидовать этой хищной, фантастичной точности!

Не только Петрарка, не только неоплатонизм были поводьями Микеланджело в поэзии.

Мощный дух Савонаролы, проповедника, которого он слушал в дни молодости, — ключ к его сонетам: таков его разговор с богом. Безнравственные люди поучали его нравственности.

Их коробило, когда мастер пририсовывал Адаму пуп, явно нелогичный для первого человека, слепленного из глины. Недруг его Пьетро Аретино доносил на его «лютеранство» и «низкую связь» с Томмазо Кавальери. Говорили, что он убил натурщика, чтобы наблюдать агонию, предшествовавшую смерти Христа.

Как это похоже на слух, согласно которому Державин повесил пугачевца, чтобы наблюдать предсмертные корчи. Как Пушкин ужаснулся этому слуху!

Не случайно в «Страшном суде» святой Варфоломей держит в руках содранную кожу, которая — автопортрет Микеланджело. Святой Варфоломей подозрительно похож на влиятельного Аретино.

●

Галантный Микеланджело любовных сонетов, куртизирующий болонскую прелестницу. Но под рукой скульптора постпетрарковские штампы типа: «Я врезал Твой лик в мое сердце» становятся материальными, он говорит о своей практике живописца и скульптора. Я пытался подчеркнуть именно «художническое» видение поэта.

Маниакальный фанатик резца 78-го сонета (в нашем цикле названного «Творчество»).

В том же 1550 году в такт его сердечной мышце стучали молотки создателей Василия Блаженного.



Меланжевый Микеланджело. Примелькавшийся Микеланджело целлофанированных открыток, общего вкуса, отполированный взглядами, скоростным конвейером туристов, лаковые «сикстинки», шары для кроватей, брелоки для ключей — никелированный Микеланджело.



Смеркающийся Микеланджело — ужаснувшийся встречей со смертью, в раскаянии и тоске проывший свой знаменитый сонет: «Кончину чую...»
«Увы! Увы! Я предан незаметно промчавшимися днями.
Увы! Увы! Оглядываюсь назад и не нахожу дня, который бы принадлежал мне! Обманчивые надежды и тщеславные желания мешали мне узреть истину, теперь я понял это... Сколько было слез, муки, сколько вздохов любви, ибо ни одна человеческая страсть не осталась мне чуждой.
Увы! Увы! Я бреду, сам не зная куда, и мне страшно...» (Из письма Микеланджело.)
Когда не спасала скульптура и живопись, мастер обращался к поэзии.
На русском стихи его известны в достоверных переводах А. Эфроса, тончайшего эрудита и ценителя Ренессанса. Эта задача достойно им завершена.

Мое переложение имело иное направление. Повторяю, я пытался найти черты стихотворного тропа, общие с микеланджеловской пластикой. В текстах порой открывались цитаты из «Страшного суда» и незавершенных «Гигантов». Дух создателя был един и в пластике, и в слове — чувствовалось физическое сопротивление материала, савонароловский своенравный напор и счет к мирозданию. Хотелось хоть в какой-то мере воссоздать не букву, а направление силового потока, поле духовной энергии мастера.



Идею перевести микеланджеловские сонеты мне подал в прошлом году покойный Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Великий композитор только что написал тогда музыку к эфросовским текстам, но они его не во всем удовлетворяли. Работа увлекла меня, но к готовой музыке новые стихи, конечно, не могли подойти.

После опубликования их итальянское телевидение предложило мне рассказать о русском Микеланджело и почитать стихи на фоне «Скрюченного мальчика» из Эрмитажа. «Скрюченный мальчик» — единственный подлинник Микеланджело в России, — маленький демон смерти, неоконченная фигурка для капеллы Медичи.

Мысленный каркас его действительно похож в профиль на гнутую напряженную металлическую скрепку, где силы Смерти и Жизни томительно стремятся и разогнуться, и сжаться.



Через три месяца в Риме Ренато Гуттузо, сам схожий с изображениями сивилл, показывал мне в мастерской своей серию работ, посвященных Микеланджело. Это были якобы копии микеланджеловских вещей — и «Сикстины» и «Паolino» — вариации на темы мастера. XVI век пересказан веком XX-ым, переписан сегодняшним почерком. Этот же метод я пытался применить в переводах.

Я пользовался первым научным изданием 1863 года с комментариями профессора Чезаре Гуасти и сердечно благодарен Г. Брейтбурду за его любезную помощь. Тот же Мандельштам говорил, что в итальянских стихах рифмуется все со всем. Переводить их адски сложно. Например, мадригал, организованный рефреном:

О Dio, о Dio, о Dio!

Первое попавшееся: «О боже, о боже, о боже!» — явно не годится из-за сентиментальной интонации русского текста. При восторженном настрое подлинника могло бы лечь:

О диво, о диво, о диво!

Заманчиво было, опираясь на католический культ Мадонны, перевести:

О Дева, о Дева, о Дева!

Увы, и это не подходило. В строфах идет ощущаемое почти физическое преодоление материала, ритм с одышкой. Поэтому следует поставить тяжеловесное слово «Создатель»,

Создатель, Создатель!» с опорно направляющей согласной «д». Ведь идет обращение Мастера к Мастеру, счет претензий их внутри цехового порядка.

Кроме сонетов с их нотой гефсиманской скорби и ясности, песен последних лет, где мастер молитвенно раскаивается в богоборческих грехах Ренессанса, в цикл входят эпитафии на смерть пятнадцатилетнего Чеккино Браччи, а также фрагмент 1546 года, написанный не без влияния иронической музыки популярного тогда Франческо Берни. Нарочитая грубость, саркастическая бравада и черный юмор автора, вульгарности, частично смягченные в русском изложении, прикрывают, как это часто бывает, ранимость мастера, нешуточный ужас его перед смертью.

Впрочем, было ли это для Микеланджело «вульгарным»? Едва ли!

Для него, анатома и художника, понятие мышц, мочевого пузыря с камнями и т. д., как и для хирурга, — категории не эстетические или этические, а материя, где все чисто.

«Цветы земли не знают грязи».

Точно так же для архитектора понятие санузла — обычный вопрос строительной практики, как расчет марша лестниц и освещения. Он не имеет ничего общего с мещанской благопристойностью умолчания об этих вопросах.

Наш автор был ультрасовременен в лексике, поэтому я ввел некоторые термины из нашего

обихода. Кроме того, в этом отрывке я отступил от русской традиции переводить итальянские женские рифмы мужскими. Хотелось услышать, как звучало все это для уха современника. Понятно, не все в моем переложении является буквальным слепком. Но вспомним Пастернака, лучшего нашего мастера перевода:

**Поэзия, не поступайся ширью,
храни живую точность, точность тайн,
не занимайся точками в пункте
и зерен в мере хлеба не считай!**

Сам Микеланджело явил нам пример перевода одного вида искусства в другой.

Скрижальная строка Микеланджело.

Истина

Я удивляюсь, Господи, Тебе.

Поистине — «кто может, тот не хочет».

Тебе милы, кто добродетель корчит.

А я не умещаюсь в их толпе.

Я твой слуга. Ты свет в моей судьбе.

Так связан с солнцем на рассвете кочет.

Дурак над моим подвигом хохочет.

И небеса оставили в беде.

За истину борюсь я без забрала,

Деяний я хочу, а не словес.

Тебе ж милее льстец или доносчик.

Как небо на дела мои плевало,

Так я плюю на милости небес.

Сухое дерево не плодоносит.

Любовь

Любовь моя, как я тебя люблю!
Особенно когда тебя рисую.
Но вдруг в тебе я полюбил другую!
Вдруг я придумал красоту твою!
Но почему ж к друзьям тебя ревную!
И к мрамору ревную и к углю!
Вдвойне люблю — когда тебя леплю,
втройне — когда я точно зарифмую.
Я истинную вижу Красоту.
Я вижу то, что существует в жизни,
чего не замечает большинство.
Я целюсь, как охотник на лету.
Ухвачено художнической призмой,
божественнее станет божество!

Утро

Уста твои встречаются с цветами,
когда ты их вплетаешь в волосы.
Ты их ласкаешь, стебли вороша.
Как я ревную к вашему свиданию!
И грудь твою, затянутая тканью,
волнуется, свята и хороша.
И кисея коснется щек, шурша.
Как я ревную к каждому касанию!
Напоминая чувственные сны,
сжимает стан твой лента поясная
и обладает талией твоей.
Нежней объятий в жизни я не знаю...
Но руки мои в тысячу раз нежней!

Гнев

**Здесь с копьями кресты святые сходны,
кровь Господа здесь продают в разлив,
благие чаши в шлемы превратив.
Кончается терпение Господне.**

**Когда б на землю он сошел сегодня,
его б вы окровавили, схватив,
содрали б кожу с плеч его святых
и продали бы в первой подворотне.**

**Мне не нужны подачки лицемера,
творцу преуспевать не надлежит.
У новой эры — новые химеры.**

**За будущее чувствую я стыд:
иная, может быть, святая вера
опять всего святого нас лишит!**

Конец.

Ваш Микеланджело в Туретчине.

К Данте

Единственно живой среди неживых,
свидетелем он Рая стал и Ада,
обитель справедливую Расплаты
он, как анатом, все круги постиг.
Он видел Бога. Звездопадный стих
над родиной моей рыдал набатно.
Певцу нужны небесные награды.
Ему не надо почестей людских.
Я говорю о Данте. Это он
не понят был. Я говорю о Данте.
Он флорентийской банде был смешон.
Непониманье гения — закон.
О, дайте мне его прозренья, дайте!
И я готов, как он, быть осужден.

Еще о Данте

Звезде его все словеса — как дым.
Похвал, достойных Данте, так немного.
Мы не примкнем к хвалебному потоку,
Хулителей его мы пригвоздим!

Прошел он двери Ада, невредим,
пред Данте открывались двери Бога.
Но люди, рассуждавшие убого,
дверь родины захлопнули пред ним.

О родина, была ты близорука,
когда казнила лучших сыновей,
себе готова худшую из казней.

Всегда ужасна с родиной разлука.
Но не было изгнания подлей,
как песнопевца не было прекрасней!

Творчество

Когда я созидаю на века,
подняв рукой камнедробильный молот,
тот молот об одном лишь счастье молит,
чтобы моя не дрогнула рука.

Так молот Господа наверняка
мир создавал при взмахе гневных молний.
В Гармонию им Хаос перемолот.
Он праотец земного молотка.

Чем выше поднят молот в небеса,
тем глубже он врубается в земное,
становится скульптурой и дворцом.

Мы в творчестве выходим из себя.
И это называется душою.
Я — молот, направляемый Творцом.

Джованни Строщи на „Ночь“ Буонаррото

**Фигуру «Ночь» в мемориале сна
из камня высек Ангел, или Анжело.
Она жива, верней — уснула заживо.
Окликни — и пробудится Она.**

Ответ Буонаррото

**Блаженство — спать, не ведать злобы дня,
не ведать свары вашей и постыдства,
в неведении каменном забыться...
Прохожий! Тсс.. Не пробуждай меня.**

Эпитафии

I

Я счастлив, что я умер молодым.
Земные муки — хуже, чем могила.
Навеки смерть меня освободила
и сделалась бессмертием моим.

II

Я умер, подчинившись естеству.
Но тыщи дум в моей душе вмещались.
Одна из них погасла — что за малость!!
Я в тысячах оставшихся живу.

Мадригал

**Я пуст, я стандартен. Себя я утратил.
Создатель, Создатель, Создатель,
Ты дух мой похитил,
Пустынка обитель.
Стучу по груди пустотелой, как дятел:
Создатель, Создатель, Создатель!
Как на сердце пусто
От страсти бесстыжей,
Я вижу Искусством,
А сердцем не вижу.
Где я обнаружу
Пропавшую душу?
Наверно, вся выкипела наружу.**

Фрагмент автопортрета

**Я нищая падаль. Я пища для морга.
Мне душно, как джинну в бутылке прогорклой,
как в тьме позвоночника костному мозгу!**

**В камерке моей, как в гробнице промозглой,
Арахна свивает свою паутину.
Моя дольче вита пропахла помойкой.**

**Я слышу — об стену журчит мочеви́на.
Угрюмый гигант из священного шланга
мой дом подмывает. Он пьян, очевидно.**

**Полно во дворе чело́вечьего шлака.
Дерьмо каменеет, как главы соборные.
Избыток дерьма в этом мире, однако.**

**Я вам не общественная уборная!
Горд вашим доверьем. Но я же не урна...
Судьба моя скромная и убогая.**

**Теперь опишу мою внешность с натуры:
Ужасен мой лик, бороденка — как щетка.
Зубарики пляшут, как клавиатура.**

**К тому же я глохну. А в глотке щекотно!
Паук заселил мое левое ухо,
а в правом сверчок верещит, как трещотка.**

**Мой голос жужжит, как под склянкою муха.
Из нижнего горла, архангельски гулкая,
не вырвется фуга плененного духа.**

**Где синие очи! Повыщвели буркалы.
Но если серьезно — я рад, что горюю,
я рад, что одет, как воронее пугало.**

**Большая беда вытесняет меньшую.
Чем горше, тем слаще становится участь.
Сейчас оплеуха милей поцелуя.**

**Дешев парадокс — но я радуюсь, мучась.
Верней, нахожу наслажденье в печали.
В отчаянной доле есть ряд преимуществ.**

**Пусть пуст кошелек мой. Какие детали!
Зато в мочевом пузыре, как монеты,
три камня торжественно забренчали.**

**Мои мадригалы, мои триолеты
послужат оберткою в бакалее
и станут бумагою туалетной.**

**Зачем ты, художник, парил в эмпиреях,
К иным поколениям взывал свой треножник?!
Все прах и тщета. В нищете-околею.
Такой твой итог, досточтимый художник.**

Смерть

Кончину чую. Но не знаю часа.

Плоть ищет утешенья в кутеже.

Жизнь плоти опостылела душе.

Душа зовет отчаянную чашу!

Мир заблудился в непролазной чаще

среди ядовитых гадов и ужей.

Как черви, лезут сплетни из ушей.

И Истина сегодня — гость редчайший.

Устал я ждать. Я верить устаю.

Когда ж взойдет, Господь, что Ты посеял!

Нас в срамоте застанет смерти час.

Нам не постигнуть истину Твою.

Нам даже в смерти не найти спасенья.

И отвернутся ангелы от нас.

С. К. М.

Impressioni

Романс

Запомни этот миг. И молодой шиповник.
И на Твоем плече прививку от него.
Я — вечный Твой поэт и вечный Твой любовник.
И — больше ничего.

Запомни этот мир, пока Ты можешь помнить,
а через тыщу лет и более того,
Ты вскрикнешь, и в Тебя царапнется шиповник...
И — больше ничего.

Молитва спринтера

Четырежды и пятерикжды
молю, достигнув высоты:
«Жизнь, ниспошли мне передышку
дыхание перевести!»

Друзей твоих опередивши,
я снова взвинчиваю темп,
чтоб выиграть для передышки
секунды две промежду тем.

Нет, не для славы чемпиона
мы вырвались на три версты,
а чтоб упасть освобожденно
в невытопанные цветы!

Щека к щеке, как две машины,
мы с той же скоростью идем.
Движение неощутимо,
как будто замерли вдвоем.

Не думаю о пистолете,
не дезертирую в пути,
но разреши хоть раз в столетье
дыхание перевести!

Монолог читателя на дне поэзии 1999

Четырнадцать тысяч пиитов
страдают во мгле Лужников.
Я выйду в эстрадных софитах —
последний читатель стихов.

Разинувши рот, как минеры,
скажу в ликование:
«Желаю прослушать Смурновых
неопубликованное!»

Три тыщи великих Смурновых
захлопают, как орлы

с трех тыщ этикеток «Минводы»,
пытаясь взлететь со скалы,
ревя, как при взлете в Орли.

И хор, содрогнув батисферы,
солется в трехтысячный стих.
Мне грянут аплодисменты
за то, что я выслушал их.

Толпа поэтессок минорно
автографов ждет у кулис.
Доходит до самоубийств!
Скандирующие сурово
Смурновы, Смурновы, Смурновы,
желают на «бис».

И снова как реквием служат,
я выйду в прожекторах,
родившийся, чтобы слушать
среди прирожденных орать.

Заслуги мои небольшие,
сутул и невнятен мой век,
среди тысячней небожителей —
единственный человек.

Меня пожалеют и вспомнят.
Не то, что бывал я пророк,
а что не берег перепонки,
как раньше гортань не берег.

«Скажи в меня, женщина, горе,
скажи в меня счастье!
Как плачем мы, выбежав в поле,
но чаще, но чаще

нам попросту хочется высвободить
невывказанное, заветное...
Нужна хоть кому-нибудь исповедь,
как богу, которого нету!»

Я буду лобезен народу
не тем, что творил монумент, —
невывказанную ноту
понять и услышать сумел.

Красота

Я, урод в человеческом ряду,
в аллергии, как от крапивы —
исповедую красоту.
Только чувство красиво.

Исповедую луг у Оби,
не за имя,
а за то, что он полон любви
и любви невзаимной.

Исповедую спящей черты...
Мне будить Тебя грустно и чудно.
Прежде чем пробуждаешься Ты —
пробуждается чувство.

Исповедую сердце свое
перед сломом —
словно выселенное жильё
рядом с домом незаселённым.

Исповедую исповедь-быль :
в век научно-технический, бурный,
гастролера, чье имя забыл,
полюбила студентка-горбунья.

Полюбила исподтишка,
поливала цветы сокровенно.
Расцветали в горбатых горшках
целомудренные цикламены.

Полюбила, от срама бледна,
от позора таясь, как ракушка.
Прежде чем появлялась она,
появлялось сияние чувства.

Лик закинув до забытья,
вся светясь и дрожа от волненья —
словно зеркальце для бритья —
вся ловила его отраженье.

Разбить зеркальце не к добру.
Была милостыня свиданья.
Просияло в аэропорту
милосердьё страданья.

Переписка их, свято нага,
вслух читалась на почте.
Завизжала и прогнала,
когда он к ней вернулся пошло.

Он стоял на распутьях пустых,
подбирал матерщину обидную.
Он ее милосердье постиг.
Как ему я завидую!

Городка подурнели черты.
А над нею — как холмик печали —
плачет чувство такой красоты!
Его ангелом называли.

* * *

Груша заглохшая, в чаще одна,
я красоты твоей не нарушу.
Ни для кого — лишь для меня
радуешь глаз, радуешь душу.

Сосны цветут — свечи огня
спрятав в ладошки будущих шишек,
тянут, от ветра тебе заслоня.
Хочешь — кури, хочешь — сватайся
к Мнишек.

Нету тщеславия в наших лесах.
Виснут черемухи свежие стружки.
Только за то, что от них вы в слезах,
радуют глаз, радуют душу.

Мелодия Кирилла и Мефодия

Есть лирика великая —
кириллица!
Как крик у Шостаковича — «три лилии!» —
белеет «Ш» в клавиатуре Гилельса —
кириллица!
И фырчет «Ф», похожее на филина.
Забьет крылами «у» горизонтальное —
и утки унесутся за Онтарио.

В латынь — латунь органная откликнулась,
а хоровые клиросы —
в кириллицу!

«Б» вдаль из-под ладони загляделась —
как богоматерь, ждущая младенца.

Реквием

Возложите на море венки.
Есть такой человеческий обычай —
в память воинов, в море погибших,
возлагают на море венки.

Здесь, ныряя, нашли рыбаки
десять тысяч стоящих скелетов,
ни имен, ни причин не поведав,
запрокинувших головы к свету,
они тянутся к нам, глубоки.
Возложите на море венки.

Чуть качаются их позвонки,
кандалами прикованы к кладбищу,

безымянные страшные ландыши.
Возложите на море венки.

На одном, как ведро, сапоги,
на другом — на груди амулетка.
Вдовам их не помогут звонки.
Затопили их вместо расстрела,
души их, покидавшие тело,
по воде оставляли круги.

Возложите на море венки
под свирель, барабан и сирены.
Из жасмина, из роз, из сирени
возложите на море венки.

Возложите на землю венки.
В ней лежат молодые мужчины.
Из сирени, из роз, из жасмина
возложите живые венки.

Заплетите земные цветы
над землю сгоревшим пилотам.
С ними пили вы перед полетом.
Возложите на небо венки.

Пусть стоят они в небе, видны,
презирая закон притяженья,
говоря поколениям пришедшим:
«Кто живой — возложите венки».

Возложите на Время венки,
в этом вечном огне мы сгорели.
Из жасмина, из белой сирени
на огонь возложите венки.

Заплыл

Передрассветный штиль,
александрийский час,
и ежели про стиль —
я выбираю брасс.

Где на нефрите бухт
по шею из воды,
как Нефертити бюст,
выныриваешь ты.
Или гончар какой
наштамповал за миг
наклонный
 частокол
ста тысяч шей твоих?

Хватаешь воздух ртом
над струйкой завитой,
а главное потом,
а тело — под водой.

Вся жизнь твоя как брасс,
где тело под водой,
под поволокой фраз,
под службой, под фатой!..

Свежо быть молодой,
нырнуть за глубиной
и неотрубленной
смеяться головой!..

...Я в южном полушарии
на спиночке лежу —
на спиночке поджаренной
ваш шар земной держу.

Стеклозавод

Сидят три девы-стеклодувши
с шестами, полыми внутри.
Их выдуваемые души
горят, как бычьи пузыри.

Душа имеет форму шара,
имеет форму самовара.
Душа — абстракт. Но в смысле формы
она дает любую фору!

Марине бы опохмелиться,
но на губах ее горит
душа пунцовая, как птица,
которая не улетит!

Нинель ушла от моториста.
Душа высвобождает грудь,
вся в предвкушение материнства,
чтоб накормить или вздохнуть.

Уста Фаины из всех алгебр
с трудом две буквы назовут,
но с уст ее абстрактный ангел
отряхивает изумруд!

Дай дуну в дудку, постараюсь.
Дай гостю душу показать.
Моя душа не состоялась,
из формы вырвалась опять.

В век Скайлэба и Байконура
смешна кустарность ремесла.
О чем, Марина, ты вздохнула?
И красный ландыш родился.

Уходят люди и эпохи,
но на прилавках хрустала
стоят их крохотные вздохи
по три рубля, по два рубля...

О чем, Марина, ты вздохнула?
Не знаю. Тело упорхнуло.
Душа, плененная в стекле,
стенает на моем столе.

Астрофизик

**Вольноотпущенник Времени возмущает его рабов.
Лауреат Госпремии тех, довоенных годов
ввел формулу Тяжести Времени. Мир к этому не готов.**

**Его оппонент в полемике выпрыгнул из своих зубов.
Вольноотпущенник Времени восхищает его рабов.**

**Был день моего рождения. Чувствовалась духота.
Ночные персты сирени, протягиваясь с куста,
губкою в винном уксусе освежали наши уста.**

**Отец мой небесный, Время, испытывал на любовь,
Созвездье Быка горело. С низин подымался рев —
в деревне в хлеву от ящера живьем сжигали коров.**

Отец мой небесный, Время, безумен Твой часослов!
На неподъемных веках стояли гири часов.
Пьяное эхо из темени кричало, ища коробок,
что Мария опять беременна, а мир опять не готов...

Вольноотпущенник Времени вербует ему рабов.

* * *

Лист летящий, лист спешащий
над походочкой моей —
воздух в быстрых отпечатках
женских маленьких ступней.

Возвращаются, толкутся
эти светлые следы,
что желают? что толкуют?
Ах, лети,
 лети,
 лети!..

Вот нашла — в такой глуши,
в ясном воздухе души.

Повесть

Под ночной переделкинский поезд
между зеркалом и окном
увлекательнейшую повесть
пишет женщина легким пером.

Что ей поезда временный посвист
и комарная сволота?
Лампа золотом падает в повесть
и такие же волоса.

Я желаю ей, чтобы повесть
удалась,
чтоб была в ней гармония, то есть
что не складывается подчас.

Свет вчерашний

Все хорошо пока что.
Лишь беспокоит немного
ламповый, непогашенный
свет посреди дневного.

Будто свидетель лишний
или двойник дурного —
жалостный, электрический
свет посреди дневного.

Сердце не потому ли
счастливо, но в печали?
Так они и уснули.
Света не выключали,

Проволочкой накалившейся
тем еще безутешней,
слабый и электрический,
с вечера похудевший.

Вроде и нет в наличии,
но что-то тебе мешает.
Жалостный электрический
к белому примешался.

Спальные ангелы

П. Везину

Огни Медыни?
А может, Волги?
Стакан на ощупь.
Спят молодые
на нижней полке
в вагоне общем.

На верхней полке
не спит подросток.
С ним это будет.
Напротив мать его
кусает простынь.
Но не осудит.

Командировочный
забился в угол,
не спит с Уссури.
О чем он думает
под шепот в ухо?
Они уснули.

Огням качаться,
не спать родителям,
не спать соседям.
Какое счастье
в словах спасительных:
«Давай уедем!»

Да хранят их
ангелы спальные,
качав и плавав, —
на полках спаренных,
как крылья первых
аэропланов.

Кемская легенда

Был император крут, как кремень:
кто не потрафил —

катитесь в Кемь!

Раскольник, дурень, упрямый пень —
в Кемь!

Мы три минуты стоим в Кеми.
Как поминальное «черт возьми»
или молитву читаю в темь —
мечтаю, кого я послал бы в Кемь:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

Но мною посланные друзья
глядят с платформ,

здоровьем дразня.

Счастливые, в пыжиках набекрень,
жалуют нас,

не попавших в Кемь!

«В красавицу Кемь

новосел валит.

И всех заявлений

не удовлетворить.

Не гиблый край,

а завтрашний день».

Вам грустно?

Командируйтесь в Кемь!

Олень по кличке „Туманный Парень“

Ты отвези меня, Туманный Парень,
к оленям вольным от недотык!
Почти до наста,
объятый паром,
дымится
вывалившийся
язык.

Безмолвье тундровое фарфорно.
И слева вздрагивает бегом,
как сбоку
зеркальце
у шофера,
овальный воздух над языком.

Как испаряются, дрожат рогами
стада оленьи издалика!...
Так жук на спинке
сучит ногами,
цепляя воздух и облака.

Олени вольные, примите с ходу!
Въезжаем в стадо, взрыхлив снега.
Четырехтысячная свобода
тебя обнюхает, как сынка.

И вдруг умчатся, ружье учуя....
Туманный Парень —
опасный гость.
Пахнет предательством
избыток чувства.
Не зря есть в сердце оленьем кость.

Как солнце низко, Туманный Парень!
Доисторическая тоска
стоит, как радуга,
испаряясь,
немою
музыкой
с языка!

Жизнь не туманна — она железна.
Нам мотонарты кричат в снегу,
будто оранжевые жилеты
людей,
работающих в пургу.

ОХОТНИК

Я иду по следу рыси,
а она в ветвях — за мной.
Хищное вниманье выси
ощущается спиной.

Шли, шли, шли, шли,
водит, водит день-деньской,
лишь, лишь, лишь, лишь,
я за ней, она за мной.

Но стволы мои хитры,
рыси — кры...

На смерть Пазолини

Позалили
смертельной хлоркой
Пазолини,
как раньше Лорку.

Есть единственная примета,
чей отбор еще не фальшив:
убиваемые — поэты.
Убивающие — фашизм.

Проживает по бивуакам
стихотворная благодать.
Но раз поэтов не убивают,
значит, некого убивать.

Рим, 6 ноября 1975 г.

Строки Роберту Лоуэллу

**Мир
праху твоему,
прозревший президент!
Я многое пойму,
до ночи просидев.**

**Кепчоночку сниму
с усталого виска.
Мир, говорю, всему,
чем жизнь ни высока...**

**Мир храпу твоему,
Большой Океан.
Мир — пахарю в Клину.**

Мир,
сан-францисский храм,
чьи этажи, как вздох,
озонны и стройны,
вдохнут по мне разок,
как легкие страны.

Мир
паху твоему,
ночной Нью-Йоркский парк,
дремучий, как инстинкт,
убийствами пропах,
природно возлежишь
меж каменных ножиц.
Что ты понатворишь?

Мир
пиру твоему,
земная благодать,
мир праву твоему
меня четвертовать.

История, ты стон
пророков, распинаемых крестами;
они сойдут с крестов,
взовьют еретиков кострами.
Безумствует распад.
Но — все-таки — виват! —
профессия рождать
древней, чем убивать.

Визжат мальцы рожденные
у повитух в руках,
как трубки телефонные
в притихшие века.

Мир тебе,
Гуго,
миллеровский пес,
миляга.
Ты не такса, ты туфля,
мокасин с отставшей подошвой,
который просит каши.

Некто Неизвестный напялил тебя
на левую ногу
и шлепает по паркету.
Иногда Он садится в кресло нога на ногу,
и тогда ты становишься носом вверх,
и всем кажется, что просишь чего-нибудь
со стола.
Ах, Гуго, Гуго... Я тоже чей-то башмак.
Я ощущаю Нечто, надевшее меня...

Мир неизвестному,
которого нет,
но есть...

Мир, парусник благой, —
Америку открыл.
Я русский мой глагол
Америке открыл.

В ристалищных лесах
проголосил впервые,
срываясь на верхах,
трагическую музыку России.

Не горло — сердце рву.
Америка, ты — ритм.
Мир брату моему,
что путь мой повторит.

Поэт собой, как в колокол,
колотит в свод обид.
Хоть больно, но звенит...

Мой милый Роберт Лоуэлл,
мир Вашему письму,
печальному навзрыд.
Я сутки прореву,
и все осточертит,

к чему играть в кулак?
(пустой или с начинкой)?
Узнать, каков дурак —
простой или начитанный?

Глядишь в сейчас — оно
давнее, чем давно,
величественно, но
дерьмее, чем дерьмо.

Мир мраку твоему.
На то ты и поэт,
что, получая тьму,
ты излучаешь свет.

Ты хочешь мира всем.
Тебе ж не настает.
Куда в такую тень,
мой бедный самолет?

Спи, милая,
дыши
все дольше и ровней.
Да будет мир души
измученной твоей!

Все меньше городок,
горящий на реке,
как милый ремешок
с часами на руке,

значит,
опять ты их забыла снять.

Они светятся и тикают.
Я отстегну их тихо-тихо,
чтоб не спугнуть дыхания,
заведу
и положу налево, на ощупь,
где должна быть тумбочка...

* * *

Как сжимается сердце дрожью
за конечный порядок земной.
Вдоль дороги стояли рощи
и дрожали, как бег трусцей.

Все — конечно, и ты — конечна.
Им твоя красота пустяк.
Ты останешься в слове, конечно.
Жаль, что не на моих устах.

Певец

Ароматный стих как сухарь —
с темным тмином хлеб бородинский,
Прав был нравственно государь,
а безнравственный Баратынский,
словно голубя, отсылал
стих к иной земле Баратынский.
Уже с Марса вернулся сигнал.
Только голубь не воротился.

Наконец он вернулся, гонец,
с запыленной ветвью столетий.
Есть земля! Прав певец.
Только некому голубя встретить.

Новый Арбат

**На Арбат прошвырнусь, пока спишь ты.
К небесам запрокину лицо,
Где нездешняя белая птица
Положила на крышу яйцо.**

**Почему она выбрала этот
небоскреб? А не древний дворец?
Верю в диалектический метод.
Скоро вылупится птенец.**

Ливы*

К. Фридрихсону

Островная красота.
Юбки с выгибом, как вилы.
Лики в пятнах от костра —
Это ливы.

Ими вылакан бальзам?
Опрокинут стол у липы?
Хватит глупости баззать!
Это — ливы.

* Л и в ы — племена, населявшие в древности Латвию.

Ландышевые стихи,
и ладышки у залива,
и латышские стрелки.
Это? ливы?

Гармоничное «и-и»
вместо тезы «или-или».
И шоссе. И соловьи.
Двое встали и ушли.
Лишь бы их не разлучили!

Лишь бы сыпался лесок.
Лишь бы иволгины игры
осыпали на песок
сосен
 сдвоенные
 иглы!

И от хвойных этих дел,
точно буквы на галете,
отпечатается «л»
маленькое на коленке!

Эти буквы солонь.
А когда свистят с обрыва,
это вряд ли соловьи,
это — ливы.

Телемолитва

**Не исчезай на тысячу лет,
не исчезай на какие-то полчаса...
Вернешься Ты через тысячу лет,
но все горит
Твоя свеча.**

**Не исчезай из жизни моей,
не исчезай сгоряча или невзначай.
Исчезнут все.
Только Ты не из их числа.
Будь из всех исключением,
не исчезай.**

В нас вовек
не исчезнет наш звездный час,
самолет,
где летим мы с тобой вдвоем,
мы летим, мы летим,
мы все летим,
пристегнувшись одним ремнем, —
вне времен —
дремлешь Ты на плече моем,
и, как огонь,
чуть просвечивает ладонь Твоя. Твоя ладонь...

Не исчезай
из жизни моей.
Не исчезай невзначай или сгоряча.
Есть тысячи ламп.
И в каждой есть тысячи свеч,
но мне нужна
Твоя свеча.

Не исчезай в нас, Чистота,
не исчезай, даже если подступит край.
Ведь все равно, даже если исчезну сам,
я исчезнуть Тебе не дам.

Не исчезай.

Вторые рощи

Мне лаяла собачка белая.
И на холме за хуторами
две рощи — правая и левая —
лай этот эхом повторяли.

Два разделившиеся эха
в них пели, плакали, свистели,
как в двух расстроенных, ореховых,
стереофонических системах.

Я закричал, не знал, что делаю.
И надо мной в вечернем гуле
две рощи — правая и левая —
моим же голосом вздохнули.

Ночь

**Выйдешь —
дивно!..
Святязь
видно.**

Озеро Свитязь

**Опали берега осенние.
Не заплывайте. Это омут.
А летом озеро — спасение
тем, кто тоскуют или тонут.**

**А летом берега целебные,
как будто шина, надуваются
ольховым светом и серебряным
и тихо в берегах качаются.**

**Наверное, это микроклимат.
Услышишь, скрипнула калитка
или колодец журавлиный —
все ожидаешь, что окликнут.**

**Я здесь и сам живу для отзыва.
И снова сердце разрывается —
дубовый лист, прилипший к озеру,
напоминает Страдивариуса.**

Липчанские болота

*Памяти Н. Филидовича,
белорусского Сусанина*

I

«Филидович, проведешь в логова́?» —
«Да, «Мертвая голова» — закатаны рукава». —
«Филидович, а оплата не мала?» —
«Жизнь, Мертвая голова, была бы семья жива». —
«Филидович, кто в залог остался за?» —
«Внук, Мертвая голова, голубенькие глаза...»
Под следочком расправляется трава.
Филидович, проклянет тебя молва!

II

«Филидович, от заката до восхода
справа, слева, сзади, спереди — болота,
перед нами и за нами, как блевота,
и под нами...» —

«А точнее говоря,
и уже над нами — болота,
Мертвая голова!»

* * *

Н. А. Козыреву

Живите не в пространстве, а во времени,
минутные деревья вам доверены,
владейте не лесами, а часами,
живите под минутными домами,

и плечи вместо соболя кому-то
закутайте в бесценную минуту.

Какое несимметричное Время!
Последние минуты — короче,
последняя разлука — длиннее...
Килограммы сыграют в коробочку.
Вы не страус, чтоб уткнуться в бренное.

Умирают — в пространстве.
Живут — во времени.

* * *

**Бобры должны мочить хвосты.
Они темны и потаенны,
обмокнутые в водоемы,
как потаенные цветы.**

**Но распускаются с опаской
два зуба алою печалью,
как лента с шапки партизанской
иль кактусы порасцветали.**

* * *

**Память — это волки в поле,
убегают, бросив взгляд, —
как пловцы в безумном кроле,
озираются назад!**

* * *

Проснется он от темнотищи,
почувствует чужой уют
и голос ближний и смутивший:
«Послушай, как меня зовут?»

Тебя зовут — весна и случай,
измены бешеный жасмин,
твое внезапное: «Послушай...» —
и ненависть, когда ты с ним.

Тебя зовут — подача в аут,
любви кочевный баламут,
тебя в удачу забывают,
в минуты гибели зовут.

* * *

Я не ведаю в женщине той
черной речи и чуингама,
та возлюбленная со мной
разговаривала жемчугами.

Простирала не руку, а длань.
Той, возлюбленной, мелкое чуждо.
А ее уязвленная брань —
доказательство чувства.

Сон

На площади судят нас, трех воров.
Я тоже пытаюсь дознаться — кто?
Первый виновен или второй?
Но я-то знаю, что я украл.

Первый признался, что это он.
Второй улики кладет на стол.
Меня прогоняют за то, что вру.
Но я-то помню, что я украл.

Пойду домой и разрою клад,
где жемчуг теплый от шеи твоей...

И нет тебя засвидетельствовать,
чтобы признали, что я украл.

Анафема

Памяти Пабло Неруды

**Лежите Вы в Чили, как в братской могиле.
Неруду убили!**

**Убийцы с натруженными руками
подходят с искусственными венками.**

**Солдаты покинули Ваши ворота.
Ваш арест окончен. Ваш выигран раунд.
Поэт умирает — погибла свобода.
Погибла свобода —
поэт умирает.**

Лежите Вы навзничь, цветами увитый, —
как Лорка лежал, молодой и убитый.
Матильду, красивую и прямую,
пудовые слезы

к телу
пригнули.

Поэтов тираны не понимают,
когда понимают —

тогда убивают.

Оливковый Пабло с глазами лиловыми,
единственный певчий

среди титулованных,

Вы звали на палубы,

на дни рождения!..

Застолья совместны,

но смерти — отдельные...

Вы звали меня почитать стадионам —

на всех стадионах кричат заключенные!

Поэта убили, Великого Пленника...

Вы, братья Неруды,

затворами лязгая,

наденьте на лацканы

черные ленточки,

как некогда алые, партизанские!

Минута молчанья? Минута анафемы

заменит некрологи и эпитафии.

Анафема вам, солдафонская мафия,

анафема!

Немного спаслось за рубеж

на «Ильюшине»...

Анафема

моим демократичным иллюзиям!

**Убийцам поэтов, по списку, алфавитно —
анафема!
Анафема!
Анафема!**

**Пустите меня на могилу Неруды.
Горсть русской земли принесу. И побуду.
Прощусь, проглотивши тоску и стыдобу,
с последним поэтом убитой свободы.**

Оленья охота

Трапециями колеблющимися
скользя через лес,
олени,
 как троллейбусы,
снимают ток
с небес.

Я опоздал к отходу их
на пару тысяч лет,
но тянет на охоту —
вслед...

Когда их бог задумал,
не понимал и сам,
что в душу мне задует
тоску по небесам.

Тоскующие дула
протянуты к лесам!

О эта зависть резкая,
два спаренных ствола —
как провод перерезанный
к природе, что ушла.

Сквозь пристальные годы
тоскую по тому,
кто опоздал к отлету,
к отлову моему!

Бойни перед сносом

Памяти чикагских боен

I

Я как врач с надоевшим вопросом:

«Где больно?»

Бойни старые

приняты к сносу.

Где бойни?

II

Ангариобразная кирпичага
с отпечатавшеюся опалубкою.

Отпеваю бойни Чикаго,
девятнадцатый век оплакиваю.

Вы уродливы,
 бойни Чикаго, —
 на погост!
 В мире, где квадратные
 виноградины
 Хэбитага *
 собраны в более уродливую гроздь!
 Опустели,
 как Ассирийская монархия.
 На соломе
 засохший
 навоза кусочек.
 Эхом ахая,
 вызываю души усопших.

А в углу с погребальной молитвою
 при участии телеока
 бреют электробритвою
 последнего
 живого теленка.

У него на шее бубенчик.
 И шуршат с потолков голубых
 крылья призраков убиенных:
 белый бык, черный бык, красный бык.

Ты прости меня, белый убитый,
 ты о чем наклонился с высот?
 Свою голову с думой обидной,
 как двурогую тачку, везет!

Ты прости, мой печальный кузнечик,
усмехающийся кирасир!

* Хэбитаг — построенное в Монреале жилое сооруже-
 ние нового типа из отдельных квартир, сгруппиро-
 ванных как кубики.

С мощной грудью, как черный кузнецик,
черно-красные крылья носил.

Третий был продольно распилен,
точно страшная карта страны,
где зияли рубцы и насилья
человечьей наивной вины.

И над бойнею грациозно
слава реяла, отпевая,
словно
 дева
 туберкулезная,
кровь стаканчиком попивая.

Отпеваю семь тощих буренок,
семь надежд и печалей районных,
чья спина от крестца до лопатки
провисала,
 будто палатки...

Но звенит коровий сыночек,
как председательствующий
 в звоночек,

это значит:
 «Довольно выть.

Подойди.
 Услышь и увидь».

III

Бойни пусты, как кокон сборный.
Боев нет в Чикаго. Где бойни?

IV

И я увидел: впереди меня
стояла Ио.

Став на четвереньки,
с глазами Суламифи и чеченки,
стояла Ио.

Нимфина спина,
горизонтальна и изумлена,
была полна

жемчужного испуга,
дрожа от приближения слепня.

(Когда-то Зевс, застигнутый супругой,
любовницу в корову превратил
и этим кривотолки прекратил.)

Стояла Ио,
гневом и стыдом
полна.

Ее молочница доила.

И, вскормленные молоком от Ио,
обманутым и горьким молочком,
кричат мальцы отсюда и до Рио:
«Мы — дети Ио!»

Ио — герои скромного порыва,
мы — и. о.

Ио — мужчины, гибкие, как ивы,
мы — ио,

ио — поэт с призваньем водолива,
мы — ио.

Ио — любовь в объятиях тоскливых
обеденного перерыва,

мы — ио, ио,
ио — иуды, но без их наива,
мы — ио!

Но кто же мы на самом деле?
Или
нас опоили?
Но ведь нас родили!

Виновница надолго выполняла,
обман парнасский
вспоминала вяло.
«Страдалица!» —
ей скажет в простоте
доярка.
Кружка вспенится парная
с завышенным процентом ДДТ.

V

Только эхо в пустынной штольне.
Боев нет в Чикаго. Где бойни?

VI

По стене свисала распластанная,
за хвост подвешенная с потолка,
в форме темного
контрабаса,
безголовая шкура телка.

И услышал я вроде гласа.

«Добрый день, — я услышал, — мастер!
Но скажите — ради чего
Вы съели 40 тонн мяса?
В Вас самих 72 кило.

Вы съели стада моих дедушек, бабушек...
Чту Ваш вкус.
Я не вижу Вас. Вы, чай, в «бабочке»,
как член Нью-Йоркской академии искусств?

Но Вы помните, как в кладовке,
в доме бабушкиного тепла,
Вы давали сахар с ладошки
задушевым губам телка?

И когда-нибудь лет через тридцать
внук ваш, как и Вы, человек,
проводя иную тризну,
отпевая тридцатый век,

в пустоте стерильных салонов,
словно в притче, сходя с ума, —
ни души! лишь пучок соломы —
закричит: «Кусочка дерьма!»

VII

Видно, спал я, стоя, как кони.
Боев нет в Чикаго. Где бойни?

VIII

Но досматривать сон не стал я.
Я спешил в Сент-Джорджский собор,
голодающим из Пакистана
мы давали концертный сбор.

«Миллионы сестер наших в корчах,
миллионы братьев без корочки,

миллионы отцов в удушьях,
миллионы матерей хлудящих...»

И в честь матери из Бангладеша,
что скелетик сына несла
с колокольчиком безнадежным,
я включил, как «Камо грядеши?»,
горевые колокола!

Колокол, триединый колокол,
«Лебедь»,
 «Красный»
 и «Голодарь» *,
голодом,
 только голодом
правы музыка и удар!

Колокол, крикни, колокол,
что кому-то нечего есть!
Пусть хрипла торопливость голоса,
но она чистота и есть!

Колокол, красный колокол,
расходившийся колуном,
хохотом, ахни хохотом,
хороша чистота огнем.

Колокол, лебединый колокол,
мой застенчивейший регистр!
Ты, дыша,
 кандалы расковывал,
лишь возлюбленный голос чист.

* Знаменитые ростовские колокола.

**Колокольная моя служба,
ты священная моя страсть,
но кому-то ежели нужно,
чтобы с голоду не упасть,
даю музыку на осьмушки,
чтоб от пушек и зла спасла.**

**Как когда-то царь Петр на пушки
переплавливал колокола.**

IX

**Онемевшая колокольня.
Боев нет в Чикаго. Где бойни?**

Скопје

Землеробка

Тортушка
Тусеушка



Портрет Плисецкой

**В ее имени слышится плеск аплодисментов.
Она рифмуется с плакучими лиственницами,
с персидской сиренью,
Елисейскими полями, с Пришествием.
Есть полюса географические, температурные,
магнитные.**

**Плисецкая — полюс магии.
Она ввинчивает зал в неистовую воронку
своих тридцати двух фуэте,
своего темперамента, ворожит,
закручивает: не отпускает.**

Есть балерины тишины, балерины-снежины —
они тают. Эта же какая-то адская искра.
Она гибнет — полпланеты спалит!
Даже тишина ее — бешеная, орущая тишина
ожидания, активно напряженная тишина
между молнией и громовым ударом.
Плисецкая — Цветаева балета.
Ее ритм крут, взрывен.



Жила-была девочка — Майя ли, Марина ли —
не в этом суть.

Диковатость ее с детства была пуглива
и уже пугала. Проглядывалась сила
предопределенности ее. Ее кормят манной
кашей, молочной лапшой, до боли
затягивают в косички, втискивают первые
буквы в косые клетки; серебряная монетка,
которой она играет, блеснув ребрышком,
закатывается под пыльное брюхо буфета.
А ее уже мучит дар ее — неясный самой
себе, но нешуточный.

«Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший — сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью в мире мер!!»



Мне кажется, декорации «Раймонды»,
этот душный, паточный реквизит,
тяжеловесность постановки кого хочешь
разъярит. Так одиноко отчаян ее танец.

Изумление гения среди ординарности —
это ключ к каждой ее партии.
Крутая кровь закручивает ее. Это
не обычная золовая фея —

«Другие — с очами и с личиком светлым,
А я-то ночами беседую с ветром.
Не с тем — итальяйским
Зефиром младым, —
С хорошим, с широким,
Российским, сквозным!»

Впервые в балерине прорвалось нечто —
не салонно-жеманное, а бабье, нутряной
воплъ.

В «Кармен» она впервые ступила
на полную ступню.
Не на цыпочках пуантов, а сильно,
плотски, человечьи.

«Полон стакан. Пуст стакан.
Гомон гитарный, луна и грязь.
Вправо и влево качнулся стан...
Князем — цыган. Цыганом — князь!»

Ей не хватает огня в этом половинчатом
мире.

«Жить приучил в самом огне.
Сам бросил в степь заледенелую!
«Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе я сделала!»

Так любит она.

В ней нет полумер, шепотка, компромиссов.
Лукав ее ответ зарубежной корреспондентке.
— Что вы ненавидите больше всего?
— Лапшу!
И здесь не только зареванная обида детства.

Как у художника, у нее все нешуточное.
Ну да; конечно, самое отвратное —
это лапша,
это символ стандартности,
разваренной бесхребетности, пошлости,
склоненности, антидуховности.
Не о «лапше» ли говорит она в своих
записках:
«Люди должны отстаивать свои
убеждения...
...только силой своего духовного «я».
Не уважает лапшу Майя Плисецкая!
Она мастер.

«Я знаю, что Венера — дело рук,
Ремесленник — я знаю ремесло!»



Балет рифмуется с полетом.
Есть сверхзвуковые полеты.
Взбешенная энергия мастера — преодоление
рамок тела, когда мускульное движение
переходит в духовное.
Кто-то договорился до излишнего «техницизма»
Плисецкой,
до ухода ее «в форму».
Формалисты — те, кто не владеет
формой. Поэтому форма так заботит их,
вызывает зависть в другом. Вечные зубрилы,
они пыхтят над единственной рифмишкой
своей, потеют в своих двенадцати фуэте.
Плисецкая, как и поэт, щедра, перенасыщена
мастерством. Она не раб формы.
«Я не принадлежу к тем людям, которые

видят за густыми лаврами успеха девяносто пять процентов труда и пять процентов таланта».

Это полемично.

Я знал одного стихотворца, который брался за пять человеко-лет обучить любого стать поэтом.

А за десять человеко-лет — Пушкин?
Себя он не обучил.



Мы забыли слова «дар», «гениальность», «озарение». Без них искусство — ноль. Как показали опыты Колмогорова, не программируется искусство, не выводятся два чувства поэзии. Таланты не выращиваются квадратно-гнездовым способом. Они рождаются. Они национальные богатства — как залежи радия, сентябрь в Сигулде или целебный источник. Такое чудо, национальное богатство — линия Плисецкой.

Искусство — всегда преодоление барьеров. Человек хочет выразить себя иначе, чем предопределено природой.

Почему люди рвутся в стратосферу? Что, дел на Земле мало?

Преодолевается барьер тяготения. Это естественное преодоление естества.

Духовный путь человека — выработка, рождение нового органа чувств, повторяю, чувства чуда. Это называется искусством.

Начало его в преодолении извечного способа выражения.

Все ходят вертикально, но нет, человек стремится к горизонтальному полету.

Зал стонет, когда летит тридцатиградусный торс... Стравинский режет глаз цветастостью. Скрябин пробовал цвета на слух. Рихтер, как слепец, зажмурясь и втягивая ноздрями, нащупывает цвет клавишами. Ухо становится органом зрения. Живопись ищет трехмерность и движение на статичном холсте.

Танец — не только преодоление тяжести.

Балет — преодоление барьера звука:

Язык — орган звука? Голос? Да нет же; это поют руки и плечи; щебечут пальцы, сообщая нечто высочайше-важное; для чего звук груб.

Кожа мыслит и обретает выражение.

Песня без слов? Музыка без звуков.

В «Ромео» есть мгновение;

когда произнесенная тишина, отомкнувшись от губ юноши, плывет, как воздушный шар, невидимая, но осязаемая,

к пальцам Джульетты. Та принимает этот материализовавшийся звук, как вазу, в ладони, ощупывает пальцами.

Звук, воспринимаемый осязанием! В этом балет адекватен любви.

Когда разговаривают предплечья, думают голени, ладони автономно сообщают друг другу что-то без посредников.

Государство звука оккупировано движением.

Мы видим звук. Звук — линия.

Сообщение — фигура.



Параллель с Цветаевой не случайна.

Как чувствует Плисецкая стихи!

Помню ее в черном на кушетке,

как бы оттолкнувшуюся от слушателей.
Она сидит вполоборота, склонившись, как царско-сельский изгиб с кувшином. Глаза ее выключены. Она слушает шеей. Модильянистой своей шеей, линией позвоночника, кожей слушает. Серьги дрожат, как дрожат ноздри. Она любит Тулуз-Лотрека.

Летний настрой и отдых дают ей библейские сбросы Севана и Армении, костер, шашлычный дымок.

Припорхнула к ней как-то посланница эlegantного журнала узнать о рационе «примы». Ах, эти эфирные эльфы, эфемерные сильфиды всех эпох! «Мой пеньюар состоит из одной капли шанели». «Обед балерины — лепесток розы»...

Ответ Плисецкой громоподобен и гомеричен.

Так отвечают художники и олимпийцы.

«Сижу не жрамши!»

Мощь под стать Маяковскому.

Какая издевательская полемичность.



Я познакомился с ней в доме, где все говорит о Маяковском. На стенах ухмылялся в квадратах автопортрет Маяковского.

Женщина в сером всплескивала руками.

Она говорила о руках в балете.

Пересказывать не буду. Руки метались и плескались под потолком, одни руки.

Ноги, торс, были только вазочкой для этих обнаженно плескавшихся стеблей.

В этот дом приходит опасно. Вечное командорское присутствие Маяковского сплющивает ординарность. Не всякий выдерживает такое соседство.

Майя выдерживает. Она самая современная из наших балерин. Век имеет поэзию, живопись, физику — не имеет балета. Это балерина ритмов XX века. Ей не среди лебедей танцевать, а среди автомашин и лебедек! Я ее вижу на фоне чистых линий Генри Мура и капеллы Роншан. «Гений чистой красоты» — среди издерганного, суматошного мира. Красота очищает мир. Отсюда планетарность ее славы. Париж, Лондон, Нью-Йорк выстраивались в очередь за красотой, за билетами на Плисецкую. Как и обычно, мир ошеломляет художник, ошеломивший свою страну. Дело не только в балете. Красота спасает мир. Художник, создавая прекрасное, преображает мир, создавая очищающую красоту. Она ошеломительно понятна на Кубе и в Париже. Ее абрис схож с летящими египетскими контурами. Да и зовут ее кратко, как нашу сверстницу в колготках, и громоподобно, как богиню или языческую жрицу, — Майя.



*«Что делать страшной красоте,
присевшей на скамью сирени?»*

Б. Пастернак

**Недоказуем постулат.
Пасть по-плисецки на колени,
когда она в «Анне Карениной»,
закутана в плиссе-гофре,**

**в гордынь Кардена и Картье,
в самоубийственном смиреньи
лиловым пеплом на костре
пред чудищем узкоколейным
о смертном молит колесе!**

**Художник — даже на коленях —
победоноснее, чем все.**

Валитесь в ноги красоте.

**Обезоруживает: гений —
как безоружно: карате.**

GA

Н. Я. М. О. В. И.

Вслепую

По пояс снѣга,
 по сердце снега,
 по шею снега,
вперегонки,
ни человека —
летят машины, как страшные снежки!

Машин от снега не очищают.
Сугроб сугроба просит прикурить.
Прохожий — Макбет. Чревовещая,
холмы за ним гонятся во всю прыть.

Пирог с капустой. Сугроб с девицей.
Та с карапузом — и все визжат.
Дрожат антенки, как зад со шприцем.
Слепые шпарят, как ясновидцы, —
жалко маленьких сугробят!

Сугроб с прицепом — как баба снежная.
Слепцы поют в церкви — снегá, снегá...
Я не расшибся, но в гипсе свежем,
как травматологическая нога.

Негр на бампер налег, как пахари.
Сугроб качается. «Вив ламур!»
А ты в «фольксвагене», как клюква в сахаре,
куда катишься — глаза зажмуры!

Ау, подснежник в сугробе грозном,
колдунья женского ремесла,
ты зажигалку системы «Ронсон»
к шнуру бикфордову поднесла...

Слепые справа, слепые слева,
зрячему не выжить ни черта.
Непостижимая валит с неба
великолепная слепота!

Да хранит нас
и в глаза лепится
в слепое время, в слепой поход,
слепота надежд,
слепота детства,
слепота лепета
и миллионы иных слепот!

Летите слепо, любите слепо,
и пусть я что-то не так спел,
и если за что-то накажет небо —
что был от любви
недостаточно слеп.

ворошат волшебные погремухи
или затевают сорок сороков.

Птичьи коммуны, не бойтесь швабры!
Групповых ансамблей широк почин.
Надо всей Америкой — групповые свадьбы.
Есть и не поклонники групповщин.

Групповые гонки, групповые койки.
Тих единоличник во фраке гробовом.
У его супруги на всех пальцах —
кольца,
видно, пребывает
в браке групповом...

А по-над дорогой хруст серебра.
Здесь сама работа звенит за себя.
Кормят, молодчаги, детей и жен,
ну а получается
молчальный звон!

В этом клестианстве — антипод свиарни.
Чистят короедов — молчком, молчком!
Пусть вас даже кто-то
превосходит в звонарности,
но он не умеет
молчальный звон!

Юркие ньюйоркочки и чикагочки,
за ваш звон молчальный спасибо,
клеты.

Звенят листы дубовые,
будто чеканятся
византийски вырезанные кресты.

В этот звон волшебный уйду от ужаса,
посреди беседы замру, смущен.

Будто на Владимирщине —

прислушайся! —

молчальный звон...

Декабрьские пастбища

М. Сарьяну

Все как надо — звездная давка.
Чабаны у костра в кругу.
Годовалая волкодавка
разрешается на снегу.

Пахнет псиной и Новым Заветом.
Как томилась она меж нас.
Ее брюхо колосось светом,
как серебряный дикобраз.

Чабаны на кону метали —
короли, короли, короли.
Из икон, как из будок, лаяли —
кобели, кобели, кобели!

А она все ложилась чаще
на репы и сухой помет
и обнюживала сияющий
мессианский чужой живот.

Шли бараны черные следом.
Лишь серебряный все понимал —
передачу велосипеда
его контур напоминал.

Кто-то ехал в толпе овечьей,
передачу его крутя,
думал: «Сын не спас Человечий,
пусть спасет собачье дитя».

Он сопел, белокурый кутяша,
рядом с серенькими тремя.
Стыл над лобиком нимб крутящийся,
словно малая шестерня.

И от малой той шестеренки
начинались удесятеренно
сумасшествие звезд и блох.
Ибо все, что живое, — Бог.

«Аполлоны», походы, страны,
ход истории и века,
ионические бараны,
иронические снега.

По снегам, отвечая чайням,
отмечаясь в шоферских чайных,
ирод Сидоров шел с мешком
и извиняющимся смешком.

Читая Махамбета

**Зачитываюсь Махамбетом.
Заслышу Азию во мне.
Антенкой вздрогнет в кабинете
стрела, торчащая в стене.**

**Что в моей жизни эта женщина?
Погибель, спасшая меня?
Забьется под стрелой трещина,
как пригвожденная змея.**

**И почему в эпоху лунников
нам, людям атомной поры,
все снятся силуэты лучников,
сутулые, как топоры?**

Ясени любят

С ясеней, вне спасенья,
вкось семена летят —
клюшечками
хоккейными
валятся на асфальт!

Что означает тяга,
высвободясь, пропасть?
Непоправимость шага
и означает страсть.

Уточка подсадная!
Бабочка на свечу,
хоть пропаду — я знаю, —
но все равно лечу!

Рано

В горы я поднимаюсь рано.
Ястреб жестокий
 парит со мной,
сверху отсвечивающий —
 как жестяной,
снизу —
 мягкий и теневой.
Женщина
 в стрижечке светло-ореховой,
светлая ночью, темная днем,
с сизой подкладкою
 плащ фиолетовый!..
Чересполосица в доме моем.

Свеча

Зое

Спасибо, что свечу поставила
в католикосовском лесу,
что не погасла свечка талая
за грешный крест, что я ношу.

Я думаю, на что похожая
свеча, снижаясь, догорит
от неба к нашему подножию?
Мне не успеть договорить.

Меж ежедневных Черных речек
я светлую благодарю,
меж тыщи похоронных свечек —
свечу заздравную твою.

* * *

А. Дементьеву

Увижу ли, как лес сквозит,
или осоку с озерцами,
не созерцанье — сосердцанье
меня к природе пригвоздит.

Вечерний свет ударит ниц,
и на мгновение, не дольше,
на темной туче восемь птиц
блеснут, как гвозди на подошве.

**Пуcкай останутся в словах
вонзившиеся эти утки,
как у Есенина в ногтях
осталась известь штукатурки.**

**Как он цеплялся за косяк,
пока сознание не потухло!**

* * *

**Жадным взором василиска
вижу: за бревном, острѐ,
вспыхнет мордочка лисички,
точно вечное перо!**

**Омут. Годы. Окунь клюнет.
Этот невозможный сад
взять с собой не разрешат.
И повсюду цепкий взгляд,
взгляд прощальный. Если любят,
больше взглядом говорят.**

Храм Григория Неокесарийского, что на Б. Полянке

Название «неокесарийский»
гончар по кличке Полубес
прочел как «неба косари мы»
и ввел подсолнух керосинный,
и синий фон, и лук серыйный,
и разрыв-травы в изразец.

И слезы очи засорили,
когда он на небо залез.

«Ах, отчаянный гончар,
Полубес,
чем глазурный начинал
голубец?»

Лепестки твои, кустарь,
из росы.
Только хрупки, как хрусталь,
изразцы.

Только цвет твой, как анчар,
ядовит...»
С высоты своей гончар
говорит:

«Чем до свадьбы непорочней,
тем отчаянней бабец.
Чем он звонче и непрочней,
тем извечней изразец.

Нестираема краса —
изразец.
Пососите, небеса,
леденец!

Будет красная Москва
от огня,
будет черная Москва,
головня,
будет белая Москва
от снегов —
все повылечит трава
изразцов.
Изумрудина огня!
Лишь не вылечит меня.

Я к жене чужой ходил. Луг косил.
В изразцы ее кровь замесил».

И, обняв оживший фриз,
белый весь,

с колокольни рухнул

вниз

Полубес!

Когда в полночи бессонной
гляжу на фриз полубесовский,
когда тоски не погасить,
греховным храмом озаримый,
твержу я: «Неба косари мы.
Косить нам — не перекосить».

Песчаный человечек

(СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ)

**Человек бежит песчаный
по дороженьке печальной.**

**На плечах красиво сшита
майка в дырочках, как сито.**

**Не беги, теряя вес,
можешь высыпаться весь!**

**Но не слышит человек,
продолжает быстрый бег.**

.

**Человечка нет печального.
Есть дороженька песчаная...**

Нью-Йоркские значки

*Кока-кола. Колокола.
Точно звонница, голова...*

«Треугольная груша»

Блещут бляхи, бляхи, бляхи,
возглашая матом благим:
«Люди — предки обезьян»,
«Губернатор — лесбиян»,
«Непечатанное — в печать!»,
«Запретите запрещать!»

«Бог живет на улице Пастера, 18. Вход со двора».

Обожаю Гринич Вилидж
в саркастических значках.
Это кто мохнатый вылез,
как мошна в ночных очках?

Это Ален, Ален, Ален!
Над смертельным карнавалом,
Ален, выскочи в исподнем!
Бог — ирония сегодня.
Как библейский афоризм
гениальное: «Вались!»

Хулиганы? Хулиганы.
Лучше сунуть пальцы в рот,
чем закинуть куликами
буржуазовых болот!

Бляхи по местам филейным,
коллективным Вифлеемом
в мыле дают трепака —
«мини» около пупка.

Это Селма, Селма, Селма
агитирующей шельмой
подмигнула и — во двор:
«Мэйк лав, нот уор!» *

Бог — ирония сегодня.
Блещут бляхи над зевотой.
Тем страшнее, чем смешней,
и для пули — как мишень!

«Бог переехал на проспект Мира, 43. 2 звонка».

И над хиппи, над потопом
ироническим циклопом
блещет Время, как значком,
округлившимся зрачком!

* «Твори любовь, а не войну!»

Ах, Время,
сумею ли я прочитать, что написано в
твоих очах,
мчащихся на меня,
увеличиваясь, как фары?
Успею ли оценить твою хохму?..
Ах, осень в осиновых кружочках...
Ах, восемь
подброшенных тарелочек жонглера,
мгновенно замерших в воздухе,
будто жирафа убежала,
а пятна от нее
остались...

Удаляется жирафа
в бляхах, будто мухомор,
на спине у ней шарахнуто:
«Мэйк лав, нот уор!»

Пианистка

**Итальянка с миною «Подумаешь!»,
черт нас познакомил или бог?
Шрамики у пальцев на подушечках
скользкие, как шелковый шнурок...**

**Детство, обмороженное в Альпах,
снегопад, глобальный снегопад...
Той войной надрезанные пальцы
на всемирных клавишах кричат!**

**Осязаньем, знают, осязаньем
в час самоотдачи и любви
через все поп-арты и дизайны
эти сумасшедшие твои!**

**Вот зачем, измучивши машину,
ты снисходишь до «ста тридцати».
А когда прощаешься с мужчиной,
за спину ладони заведи.**

**Сквозь его подмышки — горько, робко,
белые, как крылья ангелат,
за спиной огромною Европы
раненые пальчики горят.**

Уроки

из Р. Лоуэлла

Не уткнуться в «Тэсс из рода д'Эрбервиллей»,
чтоб на нас иголки белки обронили,
осыпая сосны, засыпая сон!..

Нас с тобой зазубрят заросли громадные,
как во сне придумали обучать грамматике.
Темные уроки. Лесовые сны.

Из коры кораблик колыхнется около.
Ты куда, кораблик? Речка пересохла.
Было, милый, — сплыло. Были, были — мы!

Как укор, нас помнят хвойные урочища.
Но кому повторят тайные уроки?
В сон уходим, в память. Ночь, повсюду ночь.

Память! Полуночица сквозь окно горящее!
Плечи молодые лампу загоразивают.
Тьма библиотеки. Не перечитать...

Чье у загородки лето повторится?
В палец уколвши, иглы барбариса
свой урок повторят. Но кому, кому?

Улитки-домушницы

В. А.

Уже, наверно, час тому, как
рассвет означит на стене
ряды улиточек-домушниц
с кибиточками на спине.

Магометанские моллюски,
их продвижение — не иллюзия.
И, как полосочки слюды,
за ними тянутся следы.

Они с катушкой скотча схожи,
как будто некая рука

оклеивает тайным скотчем
дома и судьбы на века.

С какой решительностью тащат —
без них, наверно б, мир зачах —
домов, замужеств, башен тяжесть
на слабых влажных язычках!

Я погружен в магометанство,
секунды протяженьем в год,
где незаметна моментальность
и видно, как гора идет.

Эпохой, может, и побрезгуют.
Но миллиметра не простят.
Посылки клеят до востребования.

Куда летим? Кто адресат?

Яблоки с бритвами

**Хэллуvin, Хэллуvin — ну куда Голливуд?! —
детям бритвы дают, детям бритвы дают!**

**В Хэллуvin, в Хэллуvin с маскарадными ритмами
по дорогам гуляет осенний пикник.**

Воздух яблоком пахнет,

но яблоком с бритвами.

На губах перерезанный бритвою крик.

Хэллуvin — это с детством и летом разлука.

Кто он? — сука? насмешник? добряк? херувим?

До чего ты страшна, современная скука!

Хэллуvin...

Ты мне шлешь поздравленья, слезами облитые,
хэллувиночка, шуточка, детский овал.
Но любовь — это райское яблоко с бритвами.
Сколько раз я надкусывал, сколько давал...

Благодарствую, боже, твоими молитвами,
жизнь — прекрасный подарочек. Хэллувин.
И за яблоки с бритвами, и за яблоки
с бритвами
ты простишь нас. И мы тебя, боже, простим.

Но когда-нибудь в Судное время захочет
и тебя и меня на Судилище том
допросить усмехающийся ангелочек,
семилетний пацан с окровавленным ртом!

Июнь-68

Лебеди, лебеди, лебеди...
К северу. К северу. К северу!..
Кеннеди... Кеннеди... Кеннеди...
Срезали...

Может, в чужой политике
не понимаю что-то?
Но понимаю залитые
кровью беспомощной щеки!

Баловень телепублики
в траурных лимузинах...
Пулями, пулями, пулями
бешеные полемизируют!..

Помню, качал рассеянно
целой еще головою,
смахивал на Есенина
падающей копною.

Как у того играла,
льнула луна на брови...
Думали — для рекламы,
а обернулось — кровью.

Незащищенность вызова
лидеров и артистов,
прямо из телевизоров
падающих на выстрел!

Ах, как тоскуют корни,
отнятые от сада,
яблоней на балконе
на этаже тридцатом!..

Яблони, яблони, яблони —
к дьяволу!..

Яблони небоскребов —
разве что для надгробьев.

Слеги

Милые рощи застенчивой родины
(цвета слезы или нитки суровой),
и перекинутые неловко
вместо мостков горбыльковые прбдерни,
будто продернута в кедах шнуровка!

Где б ни шатался,
кто б ни базарил
о преимуществах ФЭДа над Фетом —
слезы ли это?

линзы ли это? —
но расплываются перед глазами
милые рощи дрожащего лета!

Сергею Дрофенко

Сережа — опоздали лекари!
Сережа — не закуришь «Винстона»,
смущающийся до корректности,
служитель муз без раболепия...
Еще во вторник, кукарекая,
я сквозь окно тебя высвистывал
в живые заросли ветвистые
из заседанья редколлегии!

Да что слова! Одна софистика...
Такая чистота раздавлена.
Бессильны заклинанья «чайников».
И нет ни бога и ни дьявола,
и есть Всемирная Случайность.

**Чего уж, все одно — не выживешь,
Летучей Вечности товарищ.
Из этой мглы тебя не вызовешь,
Лишь ты ночами вызываешь,**

Шафер

На свадебном свальном пиру,
бренча номерными ключами,
я музыку подберу.
Получится слово: печально.

Сосед, в тебе все сметено
отчаянно-чудным значеньем.
Ты счастлив до дьявола, но
слагается слово: плачевно.

Допрыгался, дорогой.
Наяривай вина и закусь.
Вчера, познакомься с четой,
ты был им свидетелем в загсе.

Она влюблена, влюблена
и пахнет жасминовой кожей.
Чужая невеста, жена,
но жить без нее ты не сможешь!

Ты выпил. Ты выйдешь на снег
повыветрить околесицу.
Окошки потянутся
 вверх
по белым веревочным лестницам.

Закружится голова.
Так ясно под яблочко стало,
чему не подыщешь слова.
Слагается слово: начало.

Снег в октябре

Падает по железу
с небом напополам
снежное сожаление
по лесу и по нам.

В красные можжевельники —
снежное сожаление,
ветви отяжелелые
светлого сожаления!

Это сейчас растает
в наших речах с тобой,
только потом настанет
твердой, как наст, тоской.

И, оседая, шевелится,
будто снега из детства,
свежее сожаление
милых твоих одежд.

Спи, мое день-рождение,
яблоко закусав.
Как мы теперь отдельно
будем в красных лесах?!

Ах, как звенит вслед лету
брошенный твой снежок,
будто велосипедный
круглый литой звонок!

Co/1

Meenon

ABock

„АВОСЬ!“

ОПИСАНИЕ

доподлинное

и

дополненное

*в сентиментальных документах, стихах и молитвах
славных злоключений Действительного Камер-Герра*

НИКОЛАЯ РЕЗАНОВА

доблестных Офицеров Флота ХВАСТОВА

и ДОВЫДОВА,

их быстрых парусников «Юнона» и «Авось»,

сан-францисского Коменданта

ДОН ХОСЕ ДАРИО АРГУЭЛЬО,

любезной дочери его КОНЧИ

с приложением карты странствий необычайных.

«Но здесь должен я Вашему Сиятельству сделать исповедь частных моих приключений. Прекрасная Консепсия умножала день ото дня ко мне вежливости, разные интересные в положении моем услуги и искренность, начали неприменно заполнять пустоту в моем сердце, мы ежечастью зближались в объяснениях, которые кончились тем, что она дала мне руку свою...»

Письмо Н. Резанова Н. Румянцеву 17 июня 1806 г.
(ЦГИА, ф. 13, с. 1 д. 687)

«Пусть как угодно ценят подвиг мой, но при помощи Божьей надеюсь хорошо исполнить его, мне первому из Россиян здесь бродить так сказать по ножевому острию...»

Н. Резанов — директорам русско-амер. компании
6 ноября 1805 г.

«Теперь надеюсь, что «Авось» наш в Мае на воду спущен будет...»

От Резанова же 15 февраля 1806 г.
Секретно.

Вступление

**«Авось» называется наша шхуна.
Луна на волне, как сухой овес.
Трави, Муза, пускай худо,
но нашу веру зовут «Авось»!**

**«Авось» разгуляется, «Авось» вывезет,
гармонизируется Хавос.
На суше барщина и Фонвизины,
а у нас весенний девиз «Авось»!**

**Когда бессильна «Аве Мария»,
сквозь нас выдыхивает до звезд
атеистическая Россия
сверхъестественное «авось»!**

**Нас мало, нас адски мало,
и самое страшное, что мы врозь,
но из всех притонов, из всех кошмаров
мы возвращаемся на «Авось».**

**У нас ноль шансов против тыщи.
Крыш-ка!
Но наш ноль — просто красотища,
ведь мы выживали при «минус сорока».**

**Довольно паузы. Будет шоу.
«Авось» отпльгье провозгласил.
Пусть пусто у паруса за душою,
но пусто в сто лошадиных сил!**

**Когда ж, наконец, откинем копыта
и превратимся в звезду, в навоз —
про нас напишет стишки пиита
с фамилией, начинающейся на «Авось».**

1. Пролог

**В Сан-Франциско «Авось» пиратствует —
ЧП!**

**Доченька губернаторская
спит у русского на плече.**

**И за то, что дыханьем слабым
тельный крест его запотел,
Католичество и Православье,
вздев крыла, стоят у портьер.**

**Расшатываются устои.
Ей шестнадцать с позавчера,
с дня рождения удрала!
На посту Довыдов с Хвастовым
пьют и крестятся до утра.**

II

ХВАСЛОВ: А что ты думаешь, Довыдов...

ДОВЫДОВ: О происхожденьи видов?

ХВАСЛОВ: Да нет...

III

(Молитва Кончи Аргуэльо — Богоматери)

Плачет с сан-францисской колокольни
барышня. Аукается с ней
Ярославна? Нет, Кончаковна —
Кончаковне посолоней!

«Укрепи меня, Мать-заступница,
против родины и отца,
государственная преступница,
полюбила я пришлеца.

Полюбила за славу риска,
в непроглядные времена

на балконе высекла искру
пряжка сброшенного ремня.

И за то, что учил впервые
словесам чуждой страны,
что как будто цветы ночные,
распускающиеся в порыве,
ночью пахнут, а днем — дурны.

Пособи мне, как пособила б
баба бабе. Ах, Божья Мать,
ты, которая не любила,
как ты можешь меня понять?!

Как нища ты, людская вселенная,
е боги выбравшая свои
плод искусственного осеменения,
дитя духа и нелюбви!

Нелюбовь в ваших сводах законочных.
Где ж исток?
Губернаторская дочь, Конча,
рада я, что сын твой издох!..»

И ответила Непорочная:
«Доченька...»

Ну а дальше мы знать не вправе,
что там шепчут две бабы с тоской —
одна вся в серебре, другая —
до колен в рубашке мужской.

IV

ХВАСЛОВ: А что ты думаешь, Довыдов...

ДОВЫДОВ: Как вздернуть немцев и пиитов?

ХВАСЛОВ: Да нет... **ДОВЫДОВ:** Что деспóты не создают условий для работы?

ХВАСЛОВ: Да нет...

V

(Молитва Резанова — Богоматери)

«Ну, что тебе надо еще от меня?
Икона прохладна. Часовня тесна.
Я музыка поля, ты музыка сада,
ну что тебе надо еще от меня?»

Я был не из знати. Простая семья.
Сказала: «Ты темен» — учился латыни.
Я новые земли открыл золотые.
И это гордыни твоей не цена?

Всю жизнь загубил я во имя Твоя.
Зачем же лишаешь последней услады?
Она ж несмышленьш и малое чадо...
Ну, что тебе мало уже от меня?»

И вздрогнули ризы, окладом звеня.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя, глупый. Нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

VI

ХВАСЛОВ: А что ты думаешь, Довыдов.

ДОВЫДОВ: О макси-хламидах?

ХВАСЛОВ: Да нет... **ДОВЫДОВ:** Дистрофично
безвластие, а власть катастрофична?

ХВАСЛОВ: Да нет... **ДОВЫДОВ:** Вы надулись?
Что я и крепостник и вольнодумец?

ХВАСЛОВ: Да нет. О бабе, о резановской.

Вдруг нас американцы водят за нос?

ДОВЫДОВ: Мыслю, как и ты, Хваслов, —
давить их, шлюх, без лишних слов.

ХВАСЛОВ: Глядь! Дева в небе показалась,
на облачке. **ДОВЫДОВ:** Показалось...

VII

(ОПИСАНИЕ СВАДЬБЫ, ИМЕВШЕЙ БЫТЬ 1 АПРЕЛЯ 1806 Г.)

«Губернатор в доказательство искренности и с слабыми ногами танцевал у меня, и мы не щадили пороху ни на судне ни на крепости, гшпанские гитары смешивались с русскими песельниками. И ежели я не мог окончить женьтьбы моей, то сделал кондиционный акт...»

Помнишь, свадебные слуги, после радужной севрюги, апельсинами в вине обносили не?

как лиловый поп в битловке, под колокола былого, кольца, тесные с обновки с имечком на тыльной стороне, — нам примерил не?

**а Довыдова с Хвастовым, в зал обеденный с восторгом
впрыгнувших на скакуне, —
выводили не?**

**а мамаша, удивившись, будто давленные вишни
на брюссельской простыне озадаченной родне —
предъявила не?**

**(лейтенантик Н
застрелился не)**

**а когда вы шли с поклоном, смертно-бледная мадонна
к фиолетовой стене
отвернулась не?**

**Губернаторская дочка,
где те гости? Ночь пуста.
Перепутались цепочкой
два нательные креста.**

**Архивные документы,
относящиеся к делу
Резанова Н. П.**

(КОММЕНТИРУЮТ АРХ. КРЫСЫ — ИГРЕКИ И ИКСЫ)

№ 1

«...но имя Монарха нашего более благословляться будет, когда в счастливые дни его свергнут Россияне рабство чуждым народам... Государство в одном месте избавляется вредных членов, но в другом от них же получает пользу и ими города создает...»

Н. Резанов — Н. Румянцеву

№ 2. Второе письмо Резанова — И. И. Дмитриеву

Любезный Государь Иван Иванович Дмитриев,
оповещаю, что достал
тебе настойку из термитов.
Душой я бешено устал!

Чего ищут? Чего-то свежего!
Земли старые — старый сифилис.
Начинают театры с вешалок.
Начинаются царства с виселиц.

Земли новые — табула рæза.
Расселю там новую расу —
Третий Мир — без деньги и петли,
ни республики, ни короны!
Где земли золотое лоно,
как по золоту пишут иконы,
будут лики людей светлы.

Был мне сон, дурной и чудесный.
(Видно, я переел синюх.)
Да, случась при Дворе, подействуй —
на американочке женюсь...

ЧИН ИКС:

«А вы, Резанов,
из куртизанов!
Хихикс...»

№ 3. Выписка из истории гг. Довыдова и Хвастова

Были петербуржцы — станем сыктывкарцы.
На снегу дуэльном — два костра.

Одного — на небо, другого — в карцер!

После сатисфакции — два конца!

Но пуля врезалась в пулю встречную.

Ай да Довыдов и Хвастов!

Враги вечные на братство вечаны.

И оба — к Резанову, на Дальний Восток...

ЧИН ИГРЕК:

«Засечены в подпольных играх».

ЧИН ИКС:

«Но государство ценит риск».

«15 февраля 1806 г. Объясняя вам многие характеры, приступлю теперь к прискорбному для меня описанию г. Х....., главного действующего лица в шалостях и вреде общественном и столь же полезного и любезного человека, когда в настоящих он правилах... В то самое время покупал я судно Юнону и сколь скоро купил, то сделал его начальником, и в то же время, написал к нему Мичмана Довыдова. Вступя на судно, открыл он то пьянство, которое три месяца к ряду продолжалось, ибо на одну свою персону, как из счета его в заборе увидите, выпил $9\frac{1}{2}$ ведр французской водки и $2\frac{1}{2}$ ведра крепкого спирту кроме отпусков другим и, словом, спойл с кругу корабельных, подмастерьев, штурманов и офицеров. Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и он всякую ночь снимается с якоря, но к счастью, что матросы всегда пьяны...»

(Из Второго секретного письма Резанова)

«17 июня 1806 г. Здесь видел я опыт искусства Лейтенанта Хвастова, ибо должно отдать справедливость, что одною его решимостью спаслись мы, и столько же удачно вышли мы из мест, каменными грядями окруженных».

Резанов — министру коммерции

Рапорт

**Мы — Довыдов и Хвастов,
оба лейтенанты.**

**Прикажите — в сто стволов
жахнем латинянам!**

«Стоп, Довыдов и Хвастов!» —

«Вы мягки, Резанов». —

«Уезжаю. Дайте штоф.

Вас оставлю в замах».

В бой, Довыдов и Хвастов!

Улетели. Рапорт:

«Пять восточных островов

Ваши, Император!»

«Я должен отдать справедливость искусству гг. Хвастова и Довыдова, которые весьма поспешно совершили рейсы их...»

«18 октября 1807 г. Когда я взошел к Капитану Бухарину, он, призвав караульного унтер-офицера, велел арестовать меня. Ни мне, ни Лейтенанту Хвастову не позволялось выходить из дому и даже видеть лицо какого-либо смертного... Лейтенант Хвастов впал в опасную горячку.

Вот картина моего состояния! Вот награда, есть ли не услуг, то по крайней мере желани-я оказать оные. При сравнении прошедшей моей жизни и настоящей сердце облива-ется кровью и оскорбленная столь жестоки-м обра-зом честь заставляет проклинать виновника и самую жизнь.

Мичман Довыдов».

(Выписка из «Донесения Мичмана Довыдова на квартире уже под политическим караулом»)

№ 4. В темнице

ДОВЫДОВ: А что ты думаешь, Хвастов?..

ХВАСТОВ: Бухарин! Сука! Враг Христов!

Сатрап! Вор! Бабник! Педераст!

ДОВЫДОВ: Тсс... Стражник передаст...

ХВАСТОВ: Хрен! Скот! Мы, офицеры, страждем!

Эй, стражник!

Нажрался паразит. Разит.

СТРАЖНИК: С-ик тран-зит...

Восток алеет. Помолись.

ХВАСТОВ (*бледнеет*): Это мысль.

О, Дева, в ризах как стеклярус!

Ты, что к Резанову являлась!

(Мы на Тебя не слали кляуз,
мы за Тебя интриговали
против американской крали.)

Спаси невинных индивидов!..

(*В ужасе.*) Гляди, Довыдов.

Распались цепи. Стража отвалилась.

Дверь отворилась.

И кони у крыльца в кибитке...

ГОЛОС: Бегите!

По трассе будущей Турксиба.

ДОВЫДОВ и ХВАСТОВ: Спасибо!

(Бегут)

ДОВЫДОВ: Зер гут.

Религия не лишена основ.

А? Что ты думаешь, Хвастов?

№ 5. Мнение критика Зета:

**От этих модернистских оборотцев
Резанов ваш в гробу перевернется!**

МНЕНИЕ ПОЭТА

**Перевернется — значит, оживет.
Живи, Резанов! «Авось», вперед!**

№ 6. Чин игрек:

Вот панегирик:

«Николай Резанов был прозорливым политиком. Живи Н. Резанов на 10 лет дольше, то, что мы называем сейчас Калифорнией и Американской Британской Колумбией, были бы русской территорией».

Адмирал Ван Дерс (США)

**ЧИН ИКС: Сравним,
что говорит нам Головнин:**

«Сей г. Резанов был человек скорый, горячий, затейливый, писака, говорун, имеющий голову более способную создавать воздушные замки в кабинете, нежели к великим делам, происходящим в свете...»

Флота Капитан 2-го ранга и кавалер В. М. Головнин

ЧИН ИКС:

**«А вы, Резанов,
пропили замок.
Вот Иск».**

№ 7. Из письма Резанова — Державину

**Тут одного гишпанца угораздило
по-своему переложить Горация.
Понятно, это не Державин,
но любопытен по терзаньям:**

**«Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный.
Увечный
наш бранный разум цепляется за пирамиды, статуи,
памятные места —
тщета!
Тыща лет больше, тыща лет меньше — но далее ни
черта!**

**Я — последний поэт цивилизации.
Не нашей, римской, а цивилизации вообще.
В эпоху духовного кризиса и цифиризации
культура — позорнейшая из вещей.**

**Позорно знать неправду и не назвать ее,
а назвавши, позорно не искоренять,
позорно похороны называть свадьбою,
да еще кривляться на похоронах.**

**За эти слова меня современники удавят.
А будущий афро-евро-американо-азиат
с корнем выроет мой фундамент,
и будет дыра из планеты зиять.**

**И они примутся доказывать, что слова мои были
вздорные.
Сложат лучшие песни, танцы, понапишут книг...
И я буду счастлив, что меня справедливо вздернули.
Это будет тот еще памятник!»**

№ 8

«16 августа 1804 г. Я должен так же Вашему Императорскому Величеству представить замечания мои о приметном здесь уменьшении народа. Еще более препятствует размножению жителей недостаток женского полу. Здесь теперь более нежели 30-ть человек по одной женщине. Молодые люди приходят в отчаянье, а женщины разными по нужде хитростями вовлекаются в распутство и делаются к деторождению неспособными».

(Из письма Н. Резанова Императору)

ЧИН ИКС:

**«И ты, без женщин забуревший,
на импорт клюнул зарубежный?!
Раскис!»**

№ 9

«Предложение мое сразило воспитанных в фанатизме родителей ея, разность религий, и впереди разлука с дочерью было для них громовым ударом».

**Отнесите родителям выкуп
за жену:**

макси-шубу с опушкой из выхухоля,
фасон «бабушка-инженю».

Принесите кровать с подзорами,
и, как зрящий сквозь землю глаз,
принесите трубу подзорную
под названием «унитаз»

(если глянуть в ее окуляры,
ты увидишь сквозь шар земной
трубы нашего полушария,
наблюдающие за тобой),

принесите бокалы силезские
из поющего хрусталя,
ведешь влево — поют «Марсельезу»,
ну а вправо — «Храни короля»,

принесите три самых желания,
что я прятал от жен и друзей,
что угрюмо отдал на закляние
авантюрной планиде моей!..

Принесите карты открытий,
в дымке золота как пыльца,
и, облив самогоном, —
сожгите
у надменных дверей дворца!

«...они прибегнули к Миссионерам, те не знали, как решиться, возили бедную Консепсию в церковь, исповедовали ее, убеждали к отказу, но решимость с обеих сторон наконец всех успокоила. Святые отцы оставили разрешению Римского Престола, и я принудил помолвить нас, на что соглашено с тем, чтоб до разрешения Папы было сие тайною».

№ 10. Чин инс:

**«Еще есть образ Божьей Матери,
где на эмальке матовой
автограф Их-с...»**

**«Я представлял ей край Российской посуро-
вее и притом во всем изобильной, она была
готова жить в нем...»**

№ 11. Резанов — Копче

**Я тебе расскажу о России,
где злодействует соловей,
сжатый страшной любовной силой,
как серебряный силомер.**

**Там храм Матери Чудотворной.
От стены наклонились в пруд
белоснежные контрфорсы,
будто лошади воду пьют.**

**Их ночная вода покла
вкусом чуда и чабреца,
чтоб наполнить земною силой
утомленные небеса.**

**Через год мы вернемся в Россию.
Вспыхнет золото и картечь.
Я заставлю, чтоб согласились
царь мой, Папа и твой отец!**

VIII

(В СЕНАТЕ)

**Восхитились. Разобрались. Заклеймили.
Разобрались. Наградили. Вознесли.
Разобрались. Взрешновали. Позабыли.
Господи благослови!
А Довыдова с Хвастовым посадили.**

IX

(Молитва Богоматери — Резанову)

**Светлый мой, возлюбленный, студится
тыща восемьсотая весна!
Мать от Любви Своей Отступница,
я перед природою грешна.**

**Слушая рождественские звоны,
думаешь, я радостна была?
О любви моей незарожденной
похоронно бьют колокола.**

**Надругались. А о бабе позабыли.
В честь греха в церквах горят светильни.**

**Плоть не против Духа, ибо дух —
то, что возникает между двух.**

**Тело отпусти на покаяние!
Мои церкви в тыщи киловатт
загашу за счастье окаянное
губы в табаке поцеловать!**

**В бабе государственность — притворство.
Править ей державами нельзя.
К лику Николая-чудотворца
Пририсую синие глаза.**

**Бог, Любовь Единая в двух лицах,
воскреси любую из марусь...
Николай и наглая девица,
вам молюсь!**

ЭПИЛОГ

**Спите, милые, на шкурах росوماховых.
Он погибнет в Красноярске через год.
Она выбросит в пучину мертвый плод,
станет первой сан-францисскою монахиней,**

Ск/А

сентябрь

Больная баллада

**В море морозном, в море зеленом
можно застынуть в пустынных салонах.
Что опечалилась, милый товарищ?..
Заболеваешь, заболеваешь?**

**Мы запропали с тобой в теплоход
в самый канун годовщины печальной.
Что, укачало? Но это пройдет.
Все образуется, полегчает.**

**Ты в эти ночи родила меня,
женски, как донор, наполнив собою.
Что с тобой, младшая мама моя?
Больно?**

Милая, плохо? Планета пуста.
Официанты бренчат мелочишкой.
Выйдешь на палубу — пар изо рта,
не докричишься, не докричишься.

К нам, точно кошка, в каюту войдет
затосковавшая проводница.
Спросит уютно: чайку, молодежь,
или чего-нибудь подкрепиться?

Я, проводница, печалью упыюсь
и в годовщину подобных кочевий
выпьемте, что ли, за дьявольский плюс
быть на качелях.

«Любят — не любят», за качку в мороз,
что мы сошлись в этом мире кержацком,
в наикачаемом из миров
важно прижаться.

Пьем за сварливую нашу «родню»,
воют, хвативши чекушку с прицепом.
Милые родичи, благодарю.
Но как тошнит с ваших точных рецептов.

Ах, как тошнит от тебя, тишина.
Благожелатели виснут на шею.
Ворот теснит, и удача тошна,
только тошнее

знать, что уже не болеть ничему,
ни раздражения, ни обиды.
Плакать начать бы, да нет, не начну.
Видно, душа, как печенка, отбита...

**Ну а пока что — да здравствует бой.
Вам еще взвыть от последней обеймы.
Боль продолжается. Празднуйте боль!**

Больно!

Записка Е. Яницкой, бывшей машинистке Маяковского

Вам Маяковский что-то должен.
Я отдаю.
Вы извините — он не дожил.

Определяет жизнь мою
платить за Лермонтова, Лорку
по нескончаемому долгу.

Наш долг страшен и протяжен
крово-красным платежом.

Благодарю, отцы и прадеды.
Крутись, эпохи колесо...
Но кто же за меня заплатит,
за все расплатится, за все?

* * *

Прости меня, что говорю при всех.

Одновременно открывают атом.
И гениальность стала плагиатом.

Твое лицо ограблено, как сейф.

Ты с ужасом впиваешься в экраны —
украли!

Другая примеряет, хохоча,
твои глаза и стрижку по плеча.

(Живешь — бежишь под шепот во дворе:
«Ишь баба — как Симона Синьоре».)
Соперницы! Одно лицо на двух.

Если вскинуть к небесам
восхищенные ладони —
«Он сдается!» — задолдонят,
или скажут: диверсант.

Оттого-то, лейтенант,
точно трещина на сердце —
что соседи милосердно
принимают за талант.

Дай тепла тебе львовский октябрь,
дай погоды,
прикорни мне щекой на погоны,
беззащитною, как у котят.

Мы мгновенны? Мы после поймем,
если в жизни есть вечное что-то —
это наше мгновенье вдвоем.
Остальное — пролетом!

Возвращение в Сигулду

**Отшельничаю, берложу,
отлеживаюсь в березах,
лужаечный, можжевельничий,
отшельничаю,**

**отшельничаем, нас трое,
наш третий всегда на стреме,
позвякивает ошейничком,
отшельничаем,**

**мы новые, мы знакомимся,
а те, что мы были прежде,
как наши пустые одежды,
валяются на подоконнике,**

как странны нам те придурки,
далекие, как при Рюрике
(дрались, мельтешили, дулись),
какая все это дурость!

А домик наш в три окошечка
сквозь холм в лесовых массивах
просвечивает, как косточка
просвечивает сквозь сливу,

мы тоже в леса обмакнуты,
мы зерна в зеленой мякоти,
притягиваем, как соки,
все мысли земли и шорохи,

как мелко мы жили, ложно,
турбазники сквозь кустарник
пройдут, постоят, как лоси,
растают,

умаялась бегать по лесу,
вздремнула, ко мне припавши,
и тенью мне в кожу пористую
впиталась, как в промокашку,

я весь тобою пропитан,
лесами твоими, тропинками,
читаю твое лицо,
как легкое озерцо,

как ты изменилась, милая,
как ссадина, след от свитера,
но снова как разминированная —
спасенная? спасительная!

ты младше меня? Старше!
на липы, глаза застлавшие,

наука твоя вековая
ауканья, кукованья,

как утра хрустальны летние,
как чисто у речки бисерной
дочурка твоя трехлетняя
пишет по биссектриске!

«мой милый, теперь не денешься,
ни к другу и ни к врагу,
тебя за щекой, как денежку,
серебряно сберегу»,

я думал, мне не вернуться,
гроза прошла, не волнуйся,
леса твои островные
печаль мою растворили,

в нас просеки растворяются,
как ночь растворяет день,
как окна в сад растворяются
и всасывают сирень,
и это круговращение
щемяще, как возвращенье...

Куда б мы теперь ни выбыли,
с просвечивающих холмов
нам вслед улетает Сигулда,
как связка

зеленых

шаров!

Олененок

I

«Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?..»
Это блуждает в крови, как иголка...
Ну почему — призадумаясь только —
передо мною судьба твоя, Ольга?

Полуфранцуженка, полурусская,
с джазом простуженным туфелькой хрусткая,
как несуразно в парижских альковах —
«Ольга» —
как мокрая ветка ольховая!

Что натворили когда-то родители!
В разных глазах породнили пронзительно

смутный витраж нотр-дамской розетки
с нашим Блаженным в разводах разэтаких.

Бродят, как город разора и оргий,
Ольга французская с русской Ольгой.

II

Что тебе снится, русская Оля?
Около озера рощица, что ли...
Помню, ведро по ноге холодило —
хоть никогда в тех краях не бродила.

Может, в крови моей гены горят?
Некатолический вижу обряд,
а за калиточкой росно и колко...

Как вам живется, французская Ольга?

«Как? О-ля-ля! Мой «рено» — как игрушка,
плачу по-русски, смеюсь по-французски...
Я парижанка. Ночами люблю
слушать, щекою прижавшись к рулю.

Руки лежат как в других государствах.
Правая бренди берет как лекарство.
Левая вправлена в псковский браслет,
а между ними —
тысяча лет.

Горе застыло в зрачках удлинённых,
о олененок,
вмерзший ногами на двух нелюдимых
и разъезжающихся
льдинах!..

III

Я эту «Ольгу» читал на эстраде.
Утром звонок: «Экскюзе, бога ради!
Я полурусская... с именем Ольга...
Школьница... рыженькая вот только...»

Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?!

Итальянский гараж

Б. Ахмадулиной

Пол — мозаика
как карась.
Спит в палаццо
ночной гараж.

Мотоциклы как сарацины
или спящие саранчихи.

Не Паоло и не Джульетты —
дышат потные «шевролеты».

Как механики, фрески Джотто
отражаются в их капотах.

Реют призраки войн и краж.
Что вам снится,
ночной гараж?

Алебарды?
или тираны?
или бабы
из ресторана?..

Лишь один мотоцикл притих —
самый алый из молодых.

Что он бодрствует? Завтра — святки.
Завтра он разобьется всмятку!

Апельсины, аплодисменты...
Расшибающиеся —
бессмертны!

Мы родились — не выживать,
а спидометры выжимать...

Алый, конченный, жарь! Жарь!
Только гонщицу очень жаль...

На руинах, как боль,
слышны аплодисменты —
ловит девочка моль.

Помогите Ташкенту!

Сад над адом. Вы как?
Колоннада откушена.

Будто кукиш векам,
над бульваром свисает пол-Пушкина.

Выживаем назло
сверхтолчкам хамоватым.

Как тебя натрясло,
белый домик Ахматовой!

Есть кровь — помогите,
есть кров — помогите,
где боль — помогите,
собой — помогите!

Возвращаю билеты.
Разве мыслимо бегство
от твоих заболевших,
карих, бедственных!

Разве важно, с кем жили?
Кого вызволишь — важно.

До спасенья — чужие,
лишь спасенные — ваши.

Я читаю тебе
в сумасшедшей печали.
Я читаю Беде,
чтоб хоть чуть полегчало.

Как шатает наш дом.
(как ты? цела ли? не поцарапало? пытаюсь
дозвониться... тщетно...)

Зарифмую потом.
Помогите Ташкенту!

Инженер — помогите.
Женщина — помогите.
Понежней помогите —
город на динамите.

Мэры, звезды, студенты,
липы, возчицы хлеба
дышат в общее небо.
Не будите Ташкента.

Как далось это необыкновенно недешево.
Нету крыш. Только небо.
Нету крыши надежнее.

(Ну а вы вне Беды?
Погодите закусывать кетой.
Будьте так же чисты.
Помогите Ташкенту.
Ах, Клубок Литтарантулов,
не устали делить монументы?)

Напишите талантливо.
Помогите Ташкенту.)
...Куклы под сапогами.
Помогите Ташкенту,
как он вам помогает
стать собой

Он — Анкета.

Гангстеры

— Меня ограбили в Риме.

— Имя?

— Поэт.

— Профессия?

— Поэт.

— Год рождения?

— Поэт.

— Раньше привлекались?

— Нет.

— Сожалеем.

Итак, вы стояли пред мавзолеем

Виктора Эммануила,

жалая, что не иллюминировано,

с сумочкой через плечо.

Кто еще?

— Алкаш, с волосами василиска...

— Свидетели?

— Мими, жена Василиу Василикоса,
прогрессивного деятеля,
и он сам, ее супруг.

Вдруг

римская ласточка, гангстеры на мотоцикле,
чирк! —

срезали сумку — исчезли, как и возникли,
бледный, как Мцыри, был огнедышац

возница, —

цирк!

следом за ними в ином измерении
сумка умчалась коробчатым змеем.

— Сожалеем.

— Так я был ограблен в Риме.

— Кем?

— Ими.

Бедная сумочка, змей мой коробчатый.

— Короче, —

как ты летела над Санта-Кроче,
над ограбленными американцами,
кассами, Пикассами,

угнанными «пикапами»,

кражами девичьими пикантными,

сумка летела, от вольности холодея,

снизу бежал ее бывший владелец,

кря ворюг,

вдруг —

мотоколяска, улиточка полицейская,

жестикулируя, точно Плисецкая, —

«Вы отвечаете, — говорит, — за последствия,

если сумка в образе змея

вызовет солнечное затмение».

Альберто Моравиа позвонил комиссару

полиции.

А патриции

позвонили
гангстерам.
Те сказали галантно:
— Что в сумке?
— Рисунки,
лиры и рифмы.
— Что за тарифы шифруете под термином
«рифмы»?
— Секрет фирмы.
— Врете!
— Вроде:
«Дыл бул щир
миру — мир
1 р — тыща лир
не надо в кутузку
Ренато Гуттузо
разрыв — трава
амур — труа
и др. слова».

Ганстеры сказали:
— Хоть мы и агностики,
но это к нам не относится...
— А лиры?
— Не педалируйте.
У нас 100 незапланированных убийств в сутки.
Не до сумки!

Как хорошо холодит под лопаткой
свежесть пронзительная пропажи!
Как хорошо побродить по Риму
вольным, ограбленным, побратимом!
Здравствуй, бродяг и поэтов столица!
Значит, не ссучилась сумчатая волчица,
кормит ребенка высокшими сосцами,
словно гребенка с выломанными зубцами.

Стриптиз

В ревью
танцовщица раздевается дура...
Реву?..
Или режут мне глаза прожектора?

Шарф срывает, шаль срывает, мишуру,
Как сдирают с апельсина кожуру.

А в глазах тоска такая, как у птиц.
Этот танец называется «стриптиз».

Страшен танец. В баре лысины и свист,
Как пиявки,
глазки пьяниц налились.

Нью-Йоркская птица

На окно ко мне садится
в лунных вензелях
алюминиевая птица —
вместо тела
 фюзеляж

и над ее шеей гайковой
как пламени язык
над гигантской зажигалкой
полыхает
 женский
 лик!

(В простынь капиталистическую
Завернувшись, спит мой друг.)

кто ты? бред кибернетический?
полуробот? полудух?
помесь королевы блюза
и летающего блюда?

может ты душа Америки
уставшей от забав?
кто ты юная химера
с сигареткою в зубах?

но взирают не мигая
не отерши крем ночной
очи как на Мичигане
у одной

у нее такие газовые
под глазами синячки
птица что предсказываешь?
птица не солги!

что ты знаешь, сообщаешь?
что-то странное извне
как в сосуде сообщающемся
подымается во мне

век атомный стонет в спальне...
'Я ору. И, матерясь,
Мой напарник, как ошпаренный,
Садится на матрас.)

* * *

Пел Твардовский в ночной Флоренции,
как поют за рекой в орешнике,
без искусственности малейшей
на Смоленщине,

и обычно надменно-белая
маска замкнутого лица
покатилась
 над гобеленами,
просветленная как слеза,

и портье внизу, удивляясь,
узнавали в напеве том
лебединого Модильяни
и рублевский изгиб мадонн,

прости мне мою недоверчивость...
Но черт тебя разберет,
когда походочкой верченой
дамочка
идет,

у вилл каблучком колотит,
но в солнечные очки
водой
в горящих
колодцах
мерцают ее зрачки.

* * *

Шарф мой, Париж мой,
серебряный с вишней,
ну, натворивший!

Шарф мой — Сена волосая,
как ворсисто огней сиянье,

шарф мой Булонский, туман мой мохнатый,
фары шоферов дуют в Монако!

Что ты пронзительно шепчешь, горячий,
шарф, как транзистор, шкалою горящий?

Шарф мой, Париж мой непоправимый,
с шалой кровинкой?

Та продавщица была сероглаза,
как примеряла она первоклассно,
лаковым пальчиком с отсветом улиц
нежно артерии сонной коснулась...

В электрическом шарфе хожу,
душный город на шее ношу.

Шутливый набросок

Зое

Живу в сторожке одинокой,
один-один на всем свету.
Еще был кот членистоногий,
переползающий тропу.

Он, в плечи втягивая жутко
башку, как в черную трубу,
вещал, достигнувши желудка,
мою пропащую судьбу.

А кошка — интеллектом ўже.
Знай, штамповала деток в свет,
углами загибала ушки
им, как укладчица конфет.

Туманная улица

Туманный пригород как турман.
Как поплавки милиционеры.

Туман.
Который век? Которой эры?

Все — по частям, подобно бреду.
Людей как будто развинтили...

Бреду.
Верней — барахтаюсь в ватине.

Носы. Подфарники. Околыши.
Они, как в фодисе, двоятся.

Калоши?
Как бы башкой не обменяться!

Так женщина — от губ едва,
двоясь и что-то воскрешая,

уж не любимая — вдова,
еще — твоя, уже — чужая...

О тумбы, о прохожих трусь я...
Венера? Продавец мороженого!..

Друзья?
Ох, эти яго доморощенные!

Я спотыкаюсь, бьюсь, живу,
туман, туман — не разберешься,
о чью щеку в тумане трешь?..

Ау!
Туман, туман — не дозовешься...

Как здорово, когда туман рассеивается!

Ода сплетникам

Я славлю скважины замочные.
Клеветствующему —
исполать.
Все репутации подмочены.
Трещи,
трехспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы!
Люблю их царственные рты,
их уши,
 точно унитазы,
непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно
в лабораториях ушей,
что кот на даче у Опанина

сожрал соседских голубей,
что гражданина А. в редиске
накрыли с балериной Б...

Я жил тогда в Новосибирске
в блистанье сплетен о тебе.
Как пулеметы, телефоны
меня косили наповал.
И, точно тенор — анемоны,
я анонимки получал.

Междугородные звонили.
Их голос, пахнувший ванилью,
шептал, что ты опять дуришь,
что твой поклонник толст и рыж.
Что таешь, таешь льдышкой тонкой
в пожатье пышущих ручищ...

Я возвращался.
На Волхонке
лежали черные ручьи.

И все оказывалось шуткой,
насквозь придуманной виной,
и ты запахивала шубку
и пахла снегом и весной.

Так ложь становится гарантией
твоей любви, твоей тоски...

Орите, милые, горланьте!..
Да здравствуют клеветники!
Смакуйте! Дергайтесь от тика!
Но почему так страшно тихо?

Тебя не судят, не винят,
и телефоны не звонят...

Баллада работы

Е. Евтушенко

Петр
Первый —
пот
первый...
Не царский (от шубы,
от баньки с музыкой),
а радостный
грубый,
мужицкий!

От плотской забавы
гудела спина,
от плотницкой бабы,
пилы, колуна.

И все это было началом,
началом, рождающим Савских и Саский...

Бьет пот —

олимпийский,
торжественный,
царский!

Бьет пот

(чтобы стать жемчугами Вирсавии),

Бьет пот

(чтоб сверкать сквозь фонтаны Версаля).

Бьет пот,

превращающий на века
художника — в бога, царя — в мужика!

Вас эта высокая влага кропила,
чело целовала и жгла, как крапива.
Вы были как боги — рабы ремесла!..

В прилипшей ковбойке
стою у стола.

Осенний воскресник

Кружатся опилки,
груши и лимоны.
Прямо
на затылки
падают балконы!

Мимо этой сутолоки,
ветра, листопада
мчатся на полуторке
ведра и лопаты.

Над головоломной
ка-
та-
строфой

мы летим в Коломну
убирать картофель.

Замотаем платица,
брючины засучим.

Всадим заступ
в задницы

пахотам и кручам!

Сентябрь

Загривок сохатый как карагач —
невестин хахаль,
снохач, снохач!..

Он шубу справил ей в ту весну.
Он сына сплавил на Колыму.
Он ночью стучит черпаком по бадье.
И лампами
капли
висят в бороде!

(Огромная осень, стара и юна,
в неистово-синем сиянье окна.)

А утром он в чайной подсядет ко мне,
дыша перегаром,

как листья в окне,

и скажет мне:

«Что ж я? Художник, утешь.

Мне страшно, художник!.. Я сыну — отец...»

И слезы стоят, как стакан первача,

В неистово синих глазах снохача.

Эпилог из поэмы „Доктор Осень“

Доктор Осень, ну, вот мы и повидались.
Кабинет рентгенолога — исповедальня.
Кто-то зябко за локоть меня пододвинул.
Я замер.
Доктор Осень

 глядел сквозь меня
 золотыми глазами.

Я узнал эти Очи,
 человечество зрящие.
Что ты зришь во мне, Осень,
 в жизни — нужной иль зряшной?
Где какие разрухи, полеты, пороки
и затоптанные болевые пороги?

Мы чаевничали
в вашей душевной, как чай, комнатухе.
Ворот, вышитый крестиком,
намокал от натуги.
Вы показывали сквозь смешливые слезы
мне коллекцию ваших
рентгенокурьезов.
Как пейзажи Луны,
ваши снимки тоскуют без вымпелов.
Вилка средней длины.
Ее с водкою выпили.
Этот съел медальон, чтобы с личиком быть не в
разлуке.

О улыбка мадонн
в католических дебрях желудка!..
Эту радиолампу сглотал жизнелюбец из Винницы.
Он пытался ее
из себя плоскогубцами вынуть. И,
отрешенно и важно
храня независимость хода,
как куранты на башнях,
свисали часы в пищеводах.
А один в вытрезвителе
съел карманные, с боем.
Его — Время язвительно
изнутри оглашало собою.

Пусть мы скромны и бренны.
Но, как жемчуг усердный,
вызревает в нас Время,
как ребенок под сердцем.

И внезапно, как слон,
в нас проснется, дубася,
очарованный звон
Чрезвычайного Часа.

Час — что сверит грудклетку
с гласом неба и Леты.
Час набатом знобящим,
как «Не лепо ли бяше».

Час, как яблонный Спас
в августовских чертогах.
Станет планка для вас
подведенной чертою.

Вы с Россией одни.
Вы услали посредников.
Смерть — рождению сродни.
В этом счастье последнее.

Для того я рожден
под хрустальной синью,
чтоб транслировать звон
небосклонов России.

Да не минет нас чаша
Чрезвычайного Часа.

* * *

Кто мы — фишки или великие?
Гениальность в крови планеты.
Нету «физиков», нету «лириков» —
лилипуты или поэты!

Независимо от работы
нам, как оспа, привился век.
Ошарашивающие — «Кто ты?»
нас заносит, как велотрек.

Кто ты? Кто ты? А вдруг — не то?..
Как Венеру шерстит пальто!
Кукарекать стремятся скворки,
архитекторы — в стихотворцы!

И, оттаивая ладошки,
поэтессы бегут в лотошницы!

Ну а ты?..
Уж который месяц —
в звезды метишь, дороги месить...
Школу кончила, косы сбросила,
побыла продавщицей — бросила.

И опять и опять, как в салочки,
меж столешниковых афиш,
несмышлениш, олешка, самочка,
запыхавшаяся, стоишь!..

Кто ты? Кто?! — Ты глядишь с тоскою
в книги, в окна — но где ты там? —
припадаешь, как к телескопам,
к неподвижным мужским зрачкам...

Я брожу с тобой в толщах снега...
Я и сам посреди лавин,
вроде снежного человека,
абсолютно неуловим.

Баллада керченской каменоломни

Рояль вползал в каменоломню.
Его тащили на дрова
к замерзшим чанам и половням.
Он ждал удара топора.

Он был без ножек, черный ящик,
лежал на брюхе и гудел.
Он тяжело дышал, как ящер
в пещерном логове людей.

А пальцы вспухшие алели,
на левой — два, на правой — пять...
Он опускался на колени,
чтобы до клавишей достать.

Семь пальцев бывшего завклуба.
И обмороженно-суха,
с них как с разваренного клубня,
дымясь, сползала шелуха.

Металась пламенем сполошным
их красота, их божество.
И было величайшей ложью
все, что игралось до него.

Все отраженья люстр, колонны...
Во мне ревет рояля сталь.
И я лежу в каменоломне,
и я огромен, как рояль.

Я отражаю штолен сажу.
Фигуры. Голод. Блеск костра.
И как коронного пассажи
я жду удара топора.

Мое призвание не тайна.
Я верен участи своей,
я высшей музыкою стану —
теплом и хлебом для людей.

Лешенька

Здесь Чайльд-Гарольды огородные
На страх воронам и ворам.
Здесь вместо радио — юродивый
Дает прогнозы по утрам.

Пока мы бегали в столовку,
Туманный, как Палеолит,
Юродивый с татуировкой
Чуть не упер теодолит.

Он весь дрожал от изумления,
Познав чужое божество.

Он трепетал,
 как заземление
От бьющей молнии в него!

Кругом бульдозеры былинные.
Но будущее чуял он,
Дурак, болотная былиночка,
Антенка сдвинутых времен.

Щуца

Нависает наполовину
с телеграфной тугой струны
вертикальная паутина —
как хрустальный генплан Москвы.

Беловежская панорама.
Паучок лесной хитроват.
Осторожнее, телеграммы!
Не стряхните его Арбат.

Рыбак Боков варит суп

Богу — Богово,
а Бокову —
Боково...

Он хохочет оглушительно,
на снегу горят ножи..
И как два огнетушителя
наши красные носы!

В полушубке, как бульдозер,
Боков в бурную струю
валит дьявольскими дозами
рыбин, судьбы, чешую.

* * *

Конфедераток тузы бесшабашные
Кривы.
Звезды вонзились, точно собашник,
В гривы!

Польша — шампанское, танки палящая
Польша!
Ах, как банально — «Андрей и полячка»,
Пòшло...

Выросла девочка. Годы горят. Партизаны.
Проволоки гетто,
как тернии, лоб ей терзали...

Как я люблю ее еле смеженные веки,
Жарко и снежно, как сны —
на мгновенье, навеки...

Вò поле русском,
аэродромном,
вò поле-полюшке
Вскинула рученьки
к крыльям огромным —
П о л ь ш а!

Сон? Богоматерь?..

Буфетчицы прыщут, зардев, —
Весь я в помаде,
Как будто абстрактный шедевр.

Песня Офелии

Мои дела —
как сажа бела,
была черноброва, светла была,
да все добро свое раздала,

миру по нитке —
голая станешь,
ивой поникнешь, горкой растаешь,
мой Гамлет приходит с угарным дыханьем,
пропахший бензином, чужими духами,
как свечки, бокалы стоят вдоль стола,

идут дела
и рвут удила,
уж лучше б на площадь в чем мать родила,

не крошка с Манежной, не мужу жена,
а жизнь, как монетка,
на решку легла,
искала —
орла,
да вот не нашла...

Мои дела —
как зола — дотла.

Плач по двум нерожденным поэмам

Аминь.

**Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
Хороним.**

**На черной Вселенной любовниками
отравленными
лежат две поэмы,
как белый бинокль театральный.
Две жизни прижались судьбой половинной —
две самых поэмы моих
соловьиных!**

**Вы, люди,
вы, звери,
пруды, где они зарождались
в Останкине, —**

**встаньте!
Вы, липы ночные,
как лапы в ветвях хиромантии, —
встаньте,
дороги, убитые горем,
довольно валяться в асфальте,
как волосы дыбом над городом,
вы встаньте.**

**Раскройте, гробы,
как складные ножи гиганта,
вы встаньте —
Сервантес, Борис Леонидович,
Данте,
вы б их полюбили, теперь они тоже останки,
встаньте,**

**И вы, Член Президиума Верховного Совета
товарищ Гамзатов,
встаньте,
погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно,
чем речь
на торжественной дате,
встаньте.
Их гибель — судилище. Мы — арестанты.
Встаньте.**

**О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто
и прямо,
встань, мама.**

**Вы встаньте в Сибири,
в Париже, в глухих городишках,
мы столько убили
в себе,
не родивши,**

**встаньте,
Ландау, погибший в косом лабиринте,
встаньте,
Коперник, погибший в Ландау галантном,
встаньте,
вы, девка в джаз-банде,
вы помните школьные банты!
встаньте,**

**геройские мальчики вышли в герои, но в анти,
встаньте,
{ не о кастратах — о самоубийцах,
кто саморастратил
святые крупицы},
встаньте.**

**Погибли поэмы. Друзья мои в радостной
панике —**

«Вечная память!»

**Министр, вы мечтали, чтоб юнгой
в Атлантике плавать,**

**Вечная память,
громовый Ливанов, ну, где ваш несыгранный
Гамлет!**

**вечная память,
где принц ваш, бабуся! А девственность
можно хоть в рамку обрамить,**

**вечная память,
зеленые замыслы встаньте как пламень,
вечная память,**

**мечта и надежда, ты вышла на паперть!
вечная память!..**

Аминь.

**Минута молчанья. Минута — как годы.
Себя промолчали — все ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уже
не поправить.**

Вечная память.

**И памяти нашей, ушедшей как мамонт,
вечная память.**

Аминь.

**Тому же, кто вынес огонь сквозь
потраву, —**

**Вечная слава!
Вечная слава!**

P. S.

**От Мастера, как и от Моисея,
останется не техника скрижали —
а атмосфера —
чтоб не читали после, а дышали!**

Хозяйка

Раму раскрыв, с подоконника, в фартуке,
тыльной ладонью лаская стекло,
моешь окно — как играют на арфе.
Чисто от музыки и светло.

Рецензия на сборник В. Бокова

Рецензию на Ваши «Три травы»
мне заказал отдел «Литературки».
Не теоретик я, увы,
но от статьи не ретируюсь.

Я помню — Вы пришли после цинги
в глушь пастернаковской усадьбы,
переминаясь, как гонцы,
травинку грызли виновато.
Так нанимаются в косцы
не ради платы — для услады.

Кому рояль, кому гобой,
кто оркестрован как Стравинский,

а Вы циножною губой
играли соло на травинке!

Вы с Винокуровым пришли.
Хозяиң вел Вас по тропинке...
Виолончелили шмели
за комариною травинкой.

Хозяин умер через год.
Сегодня в криках «шайбу! шайбу!»
я вспоминаю Ваш приход
и соловьиную усадьбу.

Ах, заварите три травы,
чай пахнет шишкой и шишигой....
Вы выстрадали. Вы правы.
А это более, чем книга.

Не люблю а-ля рюсских выжиг,
эклeктический их словарь.
Обожаю чай. Ненавижу
электрический самовар.

Обсерватория

Мы живем между звездами и пастухами
под стеной телескопа, в лачуге, в саду.
Нам в стекло постучали:
«Погасите окно — нам не видно звезду».

Погасите окно, алых штор дешевизну,
из двух разных светил выбирайте одно.
Чтоб в саду рассвели гефсиманские дикие вишни,
погасите окно.

Мы окно погасили, дали Цезарю цезарево.
Но сквозь тысячи лет — это было давно! —
пробивается свет, что с тобой мы зарезали.
Погасите звезду — мне не видно окно.

Прости мне

В сухих погремушечных георгинах —
а может, во сне —
доносится пошлая фраза «форгив ми!»
невесть почему в обращение ко мне.

Должно быть, у памяти в фоноархиве
осталась нестертая строчка одна.
Я не был в америках. Что за «форгив ми?»
Зачем не по-русски ты мучишь меня?

Как если раскаявшаяся гуляка
уходит душа, сбросив вас как бельё,
как если хозяева травят собаку
и просят прощения у нее!..

Но кто-то ж виновен, что годы погибли?
Что тело по гривне пошло по стране?
И я повторяю — «форгив ми, форгив ми» —
мой собственный вздох, обращенный ко мне.

Новая Лебеда

**Звезда народилась в созвездии Лебеда —
такое проспать!
Явилась стажеру без роду и племени
«Новая Лебеда-75».**

**Наседкой сидят корифеи на яйцах,
в тулупах высиживая звезду.
Она ж вылупляется и является
совсем непристойному свистуну.**

**Ты в выборе сбрендила, Новая Лебеда!
Египетский свет на себе задержав,
бесстыдно, при всей человеческой челяди
ему пожелала принадлежать.**

Она откровенностью будоражила,
сменила лебяжьего вожака,
все лебеди — белые, эта — оранжева,
обворожительно ворожа.

Дарила избраннику свет и богатства
все три триумфальные месяца. Но —
погасла!..
Как будто сколупленное домино.

«Прощай, моя муза, прощай, моя Новая Лебедя!
Растет неизвестность из черной дыры.
Меня научила себя забывать и ослепнуть.
Русалка отправлена на костры.

Опять в неизвестность окно отпираю.

Ты — Новая Лебедь, не быть тебе старой...
Из кружки полейте на руки Пилату.
Прощай, моя флейта!

Прощай, моя лживая слава.
Ты мне надоела. Ступай к аспиранту».

* * *

В. Шкловскому

Жил художник в нужде и гордыне.
Но однажды явилась звезда.
Он задумал такую картину,
чтоб висела она без гвоздя.

Он менял за квартирой квартиру,
стали пищею хлеб и вода.
Жил как йог, заклиная картину.
Она падала без гвоздя.

Стали краски волшеббно-магнитны,
примерзали к ним люди, входя.
Но стена не хотела молитвы
без гвоздя.

Обращался он к стенке бетонной:
«Дай возьму твои боли в себя.
На моих неумелых ладонях
проступают следы от гвоздя».

Умер он, изможденный профессией.
Усмежнулась скотина-звезда.
И картину его не повесят.
Но картина висит без гвоздя.

* * *

На улице, где ты живешь
над новогодней велогонкой,
ко мне прибился лживый пес,
чертополох четвероногий.

Как шапку и другие вещи,
его я оставлял внизу.
Но гаснут елочные свечи,
когда я в комнату вхожу.

Пир

(СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ)

Человек явился в лес,
всем принес деликатес:

лягушонку
дал сгущенку,

дал ежу,
что — не скажу,

а единственному волку
дал охотничью водку,

налил окуню в пруды
мандариновой воды.

Звери вежливо ответили:
«Мы еды твоей отведали.
Чтоб такое есть и пить,
надо человеком быть.
Что ж мы попусту сидим,
хочешь, мы тебя съедим?»

Человек сказал в ответ:
«Нет.

Мне ужасно неудобно,
но я очень несъедобный.
Я пропитан алкоголем,
алохолом, аспирином.
Вы меня видали голым?
Я от язвы оперируем.

Я глотаю утром водку,
следом тассовскую сводку,
две тарелки, две газеты,
две магнитные кассеты,
и коллегу по работе,
и два яблока в компоте,
опыленных ДДТ,
и т. д.

Плюс сидит в печенках враг,
курит импортный табак.
В час четыре сигареты.
Это
убивает в день
сорок тысяч лошадей.

Вы хотите никотин?»
Все сказали: «Не хотим,
жаль тебя. Ты — вредный, скушный:
если хочешь — ты нас скушай»,

Человек не рассердился
и, подумав, согласился.

* * *

Льнешь ли лживой зверью,
юбкою вертя,
я тебе не верю —
верую в тебя.

Бьешь ли в мои двери
каменьями, толпа, —
я тебе не верю.
Верую в тебя.

Красная ль, скверная ль
людская судьба —
я тебе не верю.
Верую в себя.

Монолог Резанова

**Божий замысел я искажил,
жизнь сгубив в муравейне.
Значит, в замысле не было сил.
Откровенье — за откровенье.**

**Остается благодарить.
Обвинять Тебя в слабых расчетах,
словно с женщиной счета сводить —
в этом есть недостойное что-то.**

**Я мечтал, закусив удила-с,
свесть Америку и Россию.**

Авантюра не удалась.
За попытку — спасибо.

Свел я американский расчет
и российскую грустную удаль.
Может, в будущем кто-то придет.
Будь с поэтом помягче, Сударь.

Бьет 12 годов, как часов,
над моей терпеливою нацией.
Есть апостольское число,
для России оно — двенадцать.

Восемьсот двенадцатый год —
даст ненастья иль крах династий?
Будет петь и рыдать народ.
И еще, и еще двенадцать.

Ясновидец это число
через век назовет поэмой,
потеряв именье свое.
Откровенье — за откровенье.

В том спасибо, что в Божий наш час
в ясном Болдине или в Равенне,
нам являясь, Ты требуешь с нас
откровенья за Откровенье.

За открытый с обрыва Твой лес
жить хочу и писать откровенно,
чтоб от месс, как от горных небес,
у больных закрывались каверны.

Оправдался мой жизненный срок,
может, тем, что, упав на колени,
в Твоей дочери я зажег
вольный свет откровенья.

Она вспомнила замысел Твой
и в рубашке, как тени Евангеля,
руки вытянув перед собой,
шла, шатаясь, в потемках в ванную.

Свет был животворящий такой,
аж звезда за окном окривела.
Этим я расквитался с Тобой.
Откровенье — за откровенье.

Старый Новый год

С первого по тринадцатое
нашего января
сами собой набираются
старые номера
сняли иллюминацию
но не зажгли свечей
с первого по тринадцатое
жены не ждут мужей
с первого по тринадцатое
пропасть между времен
вытри рюмашки насухо
выключи телефон
дома как в парикмахерской
много сухой иглы

простыни перетряхиваются
не подмести полы
вместо метро «Вернадского»
кружатся деревья
сценою императорской
кружится Павлова
с первого по тринадцатое
только в России празднуют
эти двенадцать дней
как интервал в ненастиях
через двенадцать лет
вьюгою патриаршею
позамело капот
в новом непотерявшееся
старое настает
будто репатриация

я закопал шампанское
под снегопад в саду
выйду с тобой с опаскою
вдруг его не найду
нас обвенчает наскоро
светлая коронация
с первого по тринадцатое
с первого по тринадцатое.

Содержание

Памятник	3
1-й СКОЛ	
Ностальгия по настоящему	
Хобби света	7
Ностальгия по настоящему	10
Табуны одичания	12
Озеро	14
Беловежская баллада	16
Звезда	18
Обмен	20

Молитва Микеланджело	22
Война	23
Похороны цветов	24
Смерть Шукшина	26
Кумир	28
Мужиковская весна	30
Гекзаметры другу	32
Черное ёрничество	34
Новогодние ралли-стоп	36
«Дорогие литсобратья!..»	40
«Когда по Пушкину кручинились миряне...»	41
«Есть русская интеллигенция...»	42
Разговорчик	44
Шоссе	45
Российские селф-мейд-мены	46
Не забудь	48
«Мы обручились временем с тобой...»	50
«Что ты ищешь, поэт, в кочевье?..»	51
Гость из тысячелетий	52
Эрмитажный Микеланджело	58
Засуха	59
Музе	60

2-й СКОЛ

Мемориал Микеланджело

Мой Микеланджело	64
Истина	75
Любовь	76
Утро	77
Гнев	78
К Данте	79
Еще о Данте	80
Творчество	81

Джованни Строрци на «Ночь» Буонаррото	82
Ответ Буонаррото	82
Эпитафии	83
Мадригал	84
Фрагмент автопортрета	85
Смерть	88

3-й СКОЛ

Романс	91
Молитва спринтера	92
Монолог читателя на дне поэзии 1999	94
Красота	97
«Груша заглохшая, в чаще одна...»	100
Мелодия Кирилла и Мефодия	101
Реквием	102
Заплыв	104
Стеклозавод	106
Астрофизик	108
«Лист летящий, лист спешащий...»	110
Повесть	111
Свет вчерашний	112
Спальные ангелы	114
Кемская легенда	116
Олень по кличке «Туманный Парень»	118
Охотник	120
На смерть Пазолини	121
Строки Роберту Лоуэллу	122
«Как сжимается сердце дрожью...»	127
Певец	128
Новый Арбат	129
Ливы	130
Телемолитва	132
Вторые рощи	134
Ночь	135

Озеро Свитязь	136
Липечанские болота	138
«Живите не в пространстве, а во времени...»	140
«Бобры должны мочить хвосты...»	141
«Память — это волки в поле...»	142
«Проснется он от темнотищи...»	143
«Я не ведаю в женщине той...»	144
Сон	145
Анафема	146
Оленья охота	149
Бойни перед сносом	151

4-й СКОЛ

Портрет Плисецкой	162
-----------------------------	-----

5-й СКОЛ

Вслепую	173
Молчальный звон	175
Декабрьские пастбища	178
Читая Махамбета	180
Ясени любят	181
Рано	182
Свеча	183
«Увижу ли, как лес сквозит...»	184
«Жадным взором василиска...»	186
Храм Григория Неокесарийского, что на Б. По- лянке	187
Песчаный человечек	190
Нью-Йоркские значки	191
Пианистка	194
Уроки	196
Улитки-домушницы	198
Яблоки с бритвами	200

Июнь-68	202
Слеги	204
Сергею Дрофенко	205
Шафер	207
Снег в октябре	209

6-й СКОЛ

«Авосы!»	213
--------------------	-----

7-й СКОЛ

Большая баллада	243
Записка Е. Яницкой, бывшей машинистке Мая- ковского	246
«Прости меня, что говорю при всех...»	247
Стансы	249
«Ты пролетом в моих городках...»	251
Возвращение в Сигулду	253
Олененок	256
Итальянский гараж	259
Из ташкентского репортажа	261
Гангстеры	264
Стриптиз	267
Нью-Йоркская птица	269
«Пел Твардовский в ночной Флоренции...»	271
«Шарф мой, Париж мой...»	274
Шутливый набросок	276
Туманная улица	277
Ода сплетникам	279
Баллада работы	281
Осенний воскресник	284
Сентябрь	286
Эпизод из поэмы «Доктор Осень»	288
«Кто мы — фишки или великие?..»	291
Баллада Керченской каменоломни	293

Лешенька	295
Пуща	297
Рыбак Боков варит суп	298
«Конфедераток тузы бесшабашные...»	300
Песня Офелии	302
Плач по двум нерожденным поэмам	304
Р. S.	308
Хозяйка	309
Рецензия на сборник В. Бокова	310
Обсерватория	312
Прости мне	313
Новая Лебеда	315
«Жил художник в нужде и гордыне...»	317
«На улице, где ты живешь...»	319
Пир	320
«Льнешь ли лживой зверью...»	323
Монолог Резанова	324
Старый Новый год	327

Вознесенский А. А.
В64 Витражных дел мастер. Стихи. М., «Молодая гвардия», 1976.

336 с.

В новой книге лирики Андрей Вознесенский ведет взволнованный поэтический разговор о высоких человеческих нравственных идеалах: о трудолюбии и честности, о смелости и любви. В стихах, написанных в результате поездок поэта по нашей стране и за рубеж, слились история и современность, жизненный опыт поэта и опыт народа.

В $\frac{7402-291}{078(02)-76}$ 256—75

P2

Андрей Андреевич Вознесенский
ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Редактор Вад. Кузнецов

Художник В. Медведев

Художественный редактор А. Романова

Технический редактор Г. Лещинская

Корректоры: З. Харитоновна, К. Пипикова

**Сдано в набор 20/V 1976 г. Подписано к печати 18/X 1976 г. А07457.
Формат 70×108^{1/32}. Бумага № 1. Печ. л. 10,5 (усл. 14,7) + 1 вкл.
Уч.-изд. л. 8,2. Тираж 130 000 экз. Цена 1 р. 20 к. Т. П., 1975 г.,
№ 256. Зак. 880.**

**Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030,
Москва, К-30, Сущевская, 21.**

